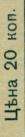
С. А. Венгеровъ.

## Inoxa Htruxckazo.

(Общій очеркъ).

Публичная лекція.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія т-ва «Общественная Польза», Б. Подъяческая, 39. 1905.

### Труды С. А, ВЕНГЕРОВА.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Критико-біографическій этюдъ. Спб. 1875-77. Ц. 2 руб.

Алексъй Феофилантовичъ Писемскій. Критико-біографическій этюдъ. Спб. 1884. Ц. 1 руб.

Рудольфъ Гнейстъ. Исторія государственных учрежденій Англіи. (Englische Verfassungs-Geschichte). Перев. съ нѣм. подъ ред. С. А. Венгерова. М. 1885. Ц. 4 руб. 50 коп.

Русская Поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ, частью въ полномъ составѣ, частью въ извлеченіяхъ. Съ критико-біографическими статьями, библіограф. примѣчаніями и портретами. Томъ I (выпуски 1—6). XVIII вѣкъ. Спб. 1897. Съ 23 портр. Ц. 8 р. Выпускъ VII. Спб. 1901. Ц. 1 руб.

Русскія книги. Съ біографическими данными объ авторахъ и переводчикахъ. Редакція С. А. Венгерова. Изданіе Г. В. Юдина. Спб. 1896—1898. Вышло три тома. (А—Вавиловъ). Цѣна каждаго тома 3 р. 50 к. съ перес. 4 руб.

Основныя черты исторіи новъйшей русской литературы. Вступительная лекція, читанная въ Спб. универсьтетъ 23 сент. 1897. Спб. 1899. Цъна 20 коп. Нъмецкій переводъ: Grundzüge der neuen russischen Litteratur. Uebertragen von Traugott Pech. Berlin 1899. Stuhrsche Buchhandlung.

Источники словаря русскихъ писателей. (Ааронъ—Гоголь). Собралъ С. А. Венгеросъ. Спб. 1900. Изданіе Императорской Академіи Наукъ. Ц. 2 руб. 50 коп.

Собраніе сочиненій Шиллера въ переводърусскихъ писателей. Подъ редакціей С. А. Венгерова. Роскошное изданіе. Съ историко-литературными комментаріями, эстампами и рисунками въ текстъ. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1901—1902 г. 4 тома Цъна за 4 тома—20 руб., въ 4 переплетахъ 24 руб.

Полное собрание сочинений Шекспира въ переводъ русскихъ писателей. Подъ ред. С. А. Ветерова. Роскошное изданіе, съ историко-литературными предисловіями къ каждой пьесъ, примъчаніями, эстампами и рисунками въ текстъ. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1902—1904. 5 томовъ. Цѣна за 5 томовъ 25 руб., въ 5 переплетахъ 30 руб.

### С. А. Венгеровъ.

# Эпоха Бълихскаго.

(Общій очеркъ).

Публичная лекція.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія т-ва «Общественная Польза», Б. Подъяческая, 39.
1905.

#### Эпоха Бѣлинекаго.

Годы, къ общему обзору литературной исторіи которыхъ я сейчасъ собираюсь приступить, принято у насъ называть  $\Gamma$ оголевскимъ периодомъ.

Трудно придумать обозначеніе, менте подходящее къ сущности эпохи, чтить это. И если обратиться къ исторіи происхожденія термина «Гоголевскій періодъ», то полная непригодность его станетъ еще яснъе.

Терминъ созданъ Чернышевскимъ. Когда онъ въ 1855 году началъ въ «Современникъ» рядъ статей о тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, то главною цёлью его было возстановить въ памяти читателей дъятельность Бълинскаго: ему посвящена значительнъйшая часть статей. Но имя Бълинскаго нельзя было въ то время называть: реакція, наступившая у насъ благодаря опасеніямъ, вызваннымъ европейскими революціонными событіями 1848 года, отнеслась къ дъятельности Бълинскаго какъ къ чему-то противозаконному. Такъ всёмъ подсудимымъ по литературно-политическому дёлу Петрашевскаго было вивнено въ проступокъ, что они читали знаменитое Бълинскаго къ Гоголю, полное выходокъ пронегодующее письмо тивъ недостатковъ нашего строя. Вотъ почему за все (1848—1855), отдёляющее смерть Бёлинскаго отъ начала новаго царствованія, имя Белинскаго не упоминается въ журналистикъ. Чернышевскій началь свои очерки въ первые місяцы новаго парствованія, когда старыя традиціи еще не уступили міста новымъ

Но вотъ наступають новыя вёянія и это очень быстро сказалось на «Очеркахъ» твиъ, что въ четвертой стать в имя Бълинскаго уже было, наконецъ, произнесено. Въ первыхъ же статьяхъ, повторяю, Вълинскаго назвать еще нельзя было. Чернышевскому, следовательно, нужно было придумать своего рода псевдовимъ, надо было говорить о Бълинскомъ иносказательно. Онъ и придрался къ тому, что въ то время выходило собрание сочинений Гоголя. Это давало поводъ говорить объ умственномъ движеній 30-хъ и 40-хъ годовъ. А такъ какъ надо было выдумать безобидную кличку, то слова «Гоголевскій періодъ» какъ-бы сами напрашивались на языкъ. И пошло это названіе, и утвердилось оно такъ, какъ будто вполить выражало намфренія автора статей. А между томъ достаточно посмотроть одно только оглавленіе «Очерковъ Гоголевскаго періода», чтобы уб'єдиться, что Гоголь тутъ ни причемъ: Гоголю посвящено въ нихъ меньше 20-ти страницъ изъ 380, очерки трактуютъ исключительно о теоретической русской мысли, на которую ужъ, конечно, Гоголь не могъ оказать никакого вліянія. Критика Белинскаго, правда, въ числе своихъ другихъ заслугъ, имфетъ и заслугу правильнаго истолкованія Гоголя. Безспорно вообще, что, за исключеніемъ Булгарина, всѣ литературныя партіи 40-хъ годовъ чрезвычайно высоко цінили Гоголя, --- но отсюда до наложенія отпечатка на всю эпоху еще очень палеко.

Я не стану касаться поднимаемаго не разъ вопроса о томъ, отъ кого пошла новая русская литература? — отъ Пушкина или отъ Гоголя. Но внѣ спора во всякомъ случаѣ то, что дѣятели сороковыхъ годовъ уже застали Гоголя большою литературною величиною, — слѣдовательно, онъ относится къ эпохамъ предыдущимъ. И, наконецъ, достаточно вспомнить письмо Бѣлинскаго къ Гоголю по поводу «Переписки съ друзьями», чтобы окончательно рѣшить вопросъ о томъ, мыслимо-ли назвать именемъ Гоголя тотъ періодъ, который такъ далеко разошелся съ Гоголемъ въ пониманіи существенвѣйшихъ сторонъ русской жизни.

Нътъ, вторую половину тридцатыхъ годовъ и сороковые годы нужно непремънно назвать эпохой Бълинскаго, какъ по тому центральному значенію Бълинскаго, которое онъ тогда заняль въ журналистикъ, такъ

и потому еще, что никто изъ остальныхъ дѣятелей эпохи не дошелъ въ эти годы до полнаго развитія своихъ литературныхъ силъ. Умершій въ 1848 году Бѣлинскій одинъ въ сороковыхъ годахъ обрисовался во всю свою величину. Остальные сверстники его, за исключеніемъ развѣ Грановскаго, всю силу своихъ талантовъ развернули уже послѣ его смерти—въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ.

I.

Исторія умственнаго движенія 30-хъ и 40-хъ годовъ тѣснѣйшимъ образомъ переплетена съ исторіей московскаго университета за это время. Въ началѣ 30-хъ годовъ въ немъ учились почги всѣ главныя силы новой русской литературы. Лермонтовъ, Гончаровъ, Герценъ, Огаревъ, Ставкевичъ и второстепеные члены его знаменитаго кружка, Константинъ Аксаковъ и наконецъ Бѣлинскій—все это студенты московскаго университета конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ.

Въ знаменательное время попали они въ университетъ. Въ началъ тридцатыхъ годовъ московскій университетъ находился на рубежъ совершенно новой эпохи, на рубежъ ръзкой перемъны въ профессуръ и студенчествъ. Цълый рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингисть Павловь, даровитый Надеждинь, Шевыревь-тогда еще молодой энтузіасть, только что вернувшійся изъ-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоберствоваль впоследствии кружокъ Белинскаго, Погодинъ, тоже еще молодой и свёжій, — всё эти молодыя силы внесли новый дугъ въ университетское преподавание, который и не замедлилъ произвести въ немъ радикальныя перемены. Виесто прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ пезапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малейшихъ переменъ, повторяемыхъ, съ профессорской каеедры послышалось живое слово, стремившееся отразить візнія времени, удовлетворить нарождающимся потребностямъ жизни. Параллельно этимъ перемънамъ въ профессорской средъ, происходитъ большая переивна и въ московскомъ студенчествъ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человъка, поглощеннаго высшими стремленіями. Прежніе патріаркальные нравы, когда московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьинствомъ, буйствомъ, задираніемъ прохожихъ мало по 
малу начинаютъ отходить въ область преданій. Правда, и въ годы 
вступленія Бѣлинскаго въ университетъ студенты забавлялись еще 
подчасъ разными чисто-школьническими шалостями и продѣлками. 
Но въ общемъ, все-таки, эти времена буйства, школьничества и незнанія куда дѣть запасъ юношескихъ силъ рѣшительно проходятъ 
и замѣняются стремленіемъ къ «солнцу истины», какъ выражается 
Константинъ Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. 
Начинается образованіе среди московскихъ студентовъ тѣсно сплоченныхъ кружковъ молодыхъ людей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся затѣмъ, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе.

Студенчество новаго типа сгруппировалось по преимуществу въ двухъ кружкахъ—Станкевича и Герцена. И какъ это ни странно, но почти все, чъмъ славно поколъніе сороковыхъ годовъ, или прямо вышло изъ этихъ двухъ кружковъ или тъсно къ нему примыкало. Безусловно правъ Герцевъ, когда, вспеминая въ «Быломъ и Думахъ» о студенческихъ кружкахъ своего времени, говоритъ о лицахъ, входившихъ въ составъ ихъ: «Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между въсколькими мальчиками, только-что вышедшими изъ дътства. Въ нихъ было наслъдіе общечеловъческой науки. Это были зародыши исторіи, незамътные, какъ зародыши вообще. Слабые, ничтожные, ничъмъ не поддерживаемые, они легко могли-бы погибнуть безъ слъда, но ови остаются, а если и умираютъ на полдорогъ, то не все умираетъ съ ними».

Оба кружка, хотя и одушевленные однимъ и тѣмъ-же жаромъ высокихъ стремленій, почти не имѣли между собою общенія и отчасти даже враждебно относились другъ къ другу. Они были представителями двухъ направленій. Кружокъ Станкевича интересовался по преимуществу вопросами отвлеченными—философіей, эстетикой, литературой и былъ довольно равнодушенъ къ вопросамъ политическимъ и соціальнымъ. Напротивъ того, кружокъ Герцена, тоже очень

интересовавшійся философіей, не особенно интересовался литературой, а все свое вниманіе сосредоточиваль на вопросахь политики дня и вопросахь соціальнаго устройства. Бурная жизнь іюльской монартіи и ученіе Сень-Симона составляли преобладающій интересь Гернена и его друга Огарева. Кружку Герцена весьма скоро пришлось столкнуться съ тѣмъ, что на жаргонѣ того времени называлось «дѣйствительность» поступила съ ними безъ всякой нѣжности, размѣстивъ ихъ по разнымъ уголкамъ Россіи. Поэтому на литературномъ поприщѣ они появляются позже, чѣмъ члены кружка Станкевича.

Въ составъ первоначально чисто-студенческаго кружка Станкевича, продолжавшаго жить въ тъснъйшемъ духовномъ общении и восторженвъйшей дружбъ и послъ того, какъ члены его въ 1834—35 гг. оставили университетъ, входили люди неодинаковой умственной и нравственной величины. Вгоростепенное значение имъютъ: рано умершій историкъ и археологъ Сергъй Строевъ; довольно посредственный поэтъ, впослъдствии профессоръ кіевскаго университета Красовъ; гораздо выше послъдняго стоящій поэтъ-философъ Ключниковъ, извъстный подъ своимъ псевдонимомъ— $\theta$ —, и наконецъ Невъровъ, получившій впослъдствіи извъстность въ качествъ попечителя Кавказскаго учебнаго округа. Цвътъ сообщали кружку прежле всего самъ Станкевичъ, затъмъ Константинъ Аксаковъ и Бълинскій. Черезъ годъ, два послъ того, какъ кружокъ покончилъ университетскія дъла свои, къ нему тъснъйщимъ образомъ примыкаютъ четыре крупнъйшихъ дъятеля: Бакунинъ, Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій.

Перечисленныя лица были люди различныхъ темпераментовъ и душевныхъ организацій. Но всёхъ изъ сплачивало въ одно обазніе необыкновенно свётлой, истинно-идеальной личности Ставкевича. Станкевичъ представляетъ собою чрезвычайно рёдкій примёръ литературнаго дёятеля, не имёющаго никакого значенія какъ писатель и тёмъ не менёе наложившаго яркую печать своей индивидуальности на одинъ изъ важнёйшихъ періодовъ русской литературы. Какъ писатель, Станкевичъ авторъ очень плохой quasi-исторической драмы, слабой повёсти, лвукъ-трехъ десятковъ стихотвореній вполнё второстепеннаго значенія, и нёсколькихъ отрывковъ философскаго

характера, правда, довольно интересныхъ, но найденныхъ только посл'в смерти въ бумагахъ его и напечатанныхъ целыхъ 20 летъ спустя. Весь этогъ незначительный литературный багажъ вийсти съ завялъ небольшой томикъ, и не въ немъ, кочечно, источникъ огромнаго вліянія Станкевича. Оно зиждется, красоты его нравственнаго существа, на томъ, что Станкевичъ, обладая литературнымъ и научнымъ талантомъ, былъ темъ не менъе очень талантливою личностью просто какъ человъкъ. Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросать и глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ давалъ окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства. Его живая, умная и часто остроумная бестда была необыкновенно плодотворна для всякаго, кто вступалъ съ нимъ въ близкое общение. Онъ всякому спору умълъ сообщать высокое направление, все мелкое и недостойное какъ-то само собою отпадало въ его присутствіи, какъ и въ присутствія Бълинскаго. Станкевичь представляль собою удивительно гармоничное сочетание нравственныхъ и умственныхъ достоинствъ. Въ идеализмъ Станкевича не было начего напускного или приподнятаго, идеализмъ органически проникалъ все его существо, онъ могъ легво и свободво дышать только на горных высотахъ духа.

Въ 1837 году начинающаяся чахотка и жажда приложиться къ самому источнику философскаго знанія погнали Станкевича заграницу. Овъ подолгу живалъ въ Берливѣ, гдѣ вступилъ въ тѣсное общеніе съ душевно полюбившимъ его профессоромъ философіи гегельянцемъ Вердеромъ. Въ это время въ сферу его обаянія попали питомцы петербургскаго увиверситета— Грановскій и Тургеневъ. Въ 1840 году двадцатисемилѣтній Станкевичъ умеръ въ итальянскомъ городкѣ Нови. Ранняя смерть его произвела потрясающее впечатлѣніе на друзей его, но вмѣстѣ съ тѣмъ ова какъ-то необыкновенно гармонично и художественно завершила красоту его образа.

Et rose elle a vecu ce que vivent les roses L'espace d'un matin, сказаль французскій поэть про умершую въ цвѣтѣ лѣть дѣвушку и находить въ этой гармоніи примиреніе съ ужаснымъ фактомъ. Душевная красота Ставкевича была тоже своего рода благоуханнымъ цвѣткомъ, который могь бы и выдохнуться при болѣе прозаическихъ условіяхъ, какъ выдохся, напр., идеализиъ его друга и кумира Невѣрова. Теперь-же, благодаря трагизму судьбы Станкевича и цѣльности оставленнаго имъ впечатлѣнія, имя его стало талисманомъ для всего поколѣнія 40-хъ годовъ и создало желаніе приблизиться къ нему по нравственной красотѣ.

Преобладающимъ интересомъ кружка Станкевича было изученіе германской идеалистической философіи. Изъ университета члены кружка, подъ вліяніемъ лекцій Павлова и Надеждина, вынесли интересъ къ Шеллингу, съ его широкимъ взглядомъ на міръ, какъ развитіе одной всеобщей, объединяющей и творящей идеи. Во второй половия в 30-хъ годовъ поэтически-восторженный идеализиъ и пантензив Шеллинга вытёсняется суровой схемой Гегелевского міропониманія. Увлеченіе кружка гегельянствомъ было безмѣрное и дошло до истинной страсти. По свидътельству Герцена, котораго не было въ Москвъ, когда началось увлечение Гегелемъ, и который засталъ его апогей по своемъ возвращени въ Москву, въ конце 1830-хъ годовъ, члены кружка отъ всякаго, приходившаго съ ними въ столвновеніе, «требовали безусловнаго принятія феноменологіи и логики Гегеля и притомъ по вхъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нътъ нараграфа во всъхъ трехъ частяхъ гегелевской логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не быль взять отчаянными спорами нёскольких вочей. Люди, шіе другъ друга, расходились на цёлыя педёли, не согласившись въ опредълени «перехватывающаго духа», принимали за обиды митнія объ «абсолютной личности» и о ея «по себъ бытіи». Всъ ничтожабёшія брошюры, выходившія въ Берлинів и другихъ губернскихъ и увздныхъ городахъ немецкой философіи, где только упоминалось о Гегелъ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нісколько дней».

Эго увлеченіе гегеліанствомъ порою доходило у членовъ кружка до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преиспол-

нились ученіемъ берлинскаго философа — что у нихъ «отношеніе къ жизни, къ дъйствительности сдълалось школьное, квижное; это было то ученое понимание простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смінялся Гете въ своемъ разговорів Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дёлё непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттула безъ капли живой крови, блёдной, алгебраической тёнью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и, если ему попадался по дорогъ какой-нибудь солдать подъ хиблькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на віжахь, была строго отвесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»...

На увлеченіи Станкевича и его друзей гегельянствомъ впервые ярко сказалась та основная черта русскаго усвоенія отвлеченныхъ идей, которая проходить красною нитью чрезъ всю нашу духовную жизнь последних 50 -- 60 леть. Въ томъ-то и дело, что отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ действительности и становились чамъ-то очень конкретнымъ. И интересъ къ философіи у людей сороковыхъ годовъ никогда не былъ интересомъ къ философіи and und für sich. Есть два типа интереса къ философіи. Можно ею интересоваться, какъ наукой, какъ дисциплиною объясняющею. Этоть чисто-научный типь интереса господствоваль въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, гдв задолго до того, какъ философія завладъла умами свътскаго общества, превосходно изучали всв главныя философскія системы. Если хотите, таксе отношеніе-вполнъ европейское, культурное, можетъ быть объясняемо твиъ, что культура духовнаго сословія нашего старше культуры свътскаго общества. Но виъстъ съ тъмъ въ этомъ отношении и достаточно... равнодущія къ истинъ. Ну, а равнодущіємъ къ истивъ

и холоднымъ объективизмомъ поколение сороковыхъ годовъ всего менъе отличалось. И вотъ почему оно и къ широкимъ перспективамъ гегелевскаго мірообъясненія отнеслось не съ холоднымъ любопытствомъ, а внесло въ ихъ усвоеніе всю страсть людей, ищущихъ духовной опоры и жаждущихъ найти мфру вещей. Для вихъ философія стала въ полномъ смыслѣ слова религіей, не разъ доводившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Неудивительно, что чисто научный интересъ отошелъ при этомъ совершенно на второй плань. «Мы тогда въ философіи искали всего на свътъ, кромпь чистаго мышленія», говорить Тургеневь въ своихь воспоминаніяхъ, и это драгопъннъйшее свилътельство даетъ ственно върный методъ опънки философскихъ увлеченій эпохи Бълинскаго. Комичны, поэтому, новъйтия нападки на Бълинскаго и его друзей за то, что они не втрно повяли Гегеля. Эти нападки комичны, прежде всего, по существу. Они основавы по преимушеству на томъ, что Бълинскій плохо зналъ по-нъмецки, Гегеля въ подлинникъ не читалъ и знакомъ былъ съ нимъ по передачъ друзей, въ частности Бакунина. Но дело-то въ томъ, что это была передача, которая превосходила непосредственное знакомство. Герценъ, въ высокой компетентности котораго по отношенію къ философскимъ вопросамъ никто еще никогда не сомнъвался, говоритъ, что изъ всёхъ людей, изучавшихъ Гегеля, снъ встрётилъ только двухъ, которые поняли великаго философа въ совершенствъ, и оба эти человъка не знали по-нъмецки: то были Прудонъ и Бълинскій, оба-ученики одного и того же Бакунива. По отзыву другого компетентнаго судьи-князя Одоевскаго, Бълинскій представляль собою примъръ замъчательнъйшей философской духовной организаціи, которой достаточно было усвоить основныя начала, чтобы затемъ уже самостоятельнымъ путемъ дойти до всёхъ ихъ логическихъ последствій. Вотъ почему и Гегеля Бълинскій превосходно поняль по пересказу Бакунина и Станкевича.

Итакъ, повторяю, упреки въ томъ, что въ кружкѣ Бѣлинскаго плохо знали Гегеля, комичны по существу. Но они еще болѣе ксмичны по тѣмъ негодующимъ выводамъ, которые изъ нихъ сдѣлали люди, взявшіеся изучать умственныя движенія русскаго общества, не уяснивъ себъ главной особенности ихъ — способности претворять заимствованныя извеб отвлеченныя системы въ нечто вполне самостоятельное, въ чисто русскій катехизись практической жизни. Допустимъ, что Бълинскій не понялъ Гегеля и даже совершенно «извратиль» его. Что бы изъ этого следовало? Единственно тотъ фактъ вполит второстепеннаго значенія, что умственная жизнь русской интеллигенціи 40-хъ годовъ шла безъ воздействія на нее подлинной гегелевской философіи. А такъ какъ философія Гегеля даже и въ подлинномъ видъ ни въ какомъ случав не можетъ быть признана универсальнымъ фактомъ правильнаго умственнаго развитія, какимъ должны быть признаны, напр., естественно-научный методъ или критическая философія Канта, то и ущерба никакого не произошло бы отъ «извращенія» Бълинскимъ гегельянства. Въ современной Бълинскому Франціи и Англіи Гегеля совстив не знали, и это не помѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, слъдовательно, отлично и Россія безъ «правильно» понятаго гегельянства. Весь интересъ «правильно» или «неправильно» понятаго русскаго гегельянства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является русскими умственными теченіеми. Исходи они даже наи полнаго непониманія, его огромный интересъ для историка русской мысли и русскаго общества столь же мало ослаблялся бы этимъ, какъ не ослабляется, напр., историческій интересъ католицизма и протестантства, ссли допустить, что они отступили отъ ученія первоначального восточного христіанства. Действительный интересь русскаго гегельянства только въ томъ необыкновенномъ подъемѣ духа, который гегельянство сообщило покольнію сороковыхъ годовъ. Изъ броженія мысли, имъ созданнаго, вытекли два основныхъ русла русскаго самосознанія: западничество и славянофильство; гегельянство не только сообщило русской интеллигенціи то, чего ей прежде недоставало - опредъленное міровоззрѣніе, но, что самое важное, оно создало неотложную потребность всегда имъть какое нибудь міровоззрвніе. А эта опредвленность міровоззрвнія была единственнымъ способомъ воздёйствія на косность окружающей среды. Талантовъ было достаточно и до сороковыхъ годовъ. Но эти таланты по своимъ идеаламъ сливались съ толпой и потому поглощались ею и были безсильны окрасить ее въ свой цвътъ. Людей же сороковыхъ годовъ высота ихъ міровозэрвнія сразу выдвинула надъ толпой, создался маякъ мысли, который далеко вокругъ бросалъ лучи свъта. Прошло какихъ-нибудь 15 льть, и то, что вырабатывалось въ дружескихъ собраніяхъ ничтожнымъ количествомъ горсточки людей, оказало могущественнъйшее вліяніе на весь ходъ огромной государственной машины, которая направилась теперь по путямъ, намъченнымъ въ 40-хъ гг. кучкой гегельявцевъ. И вотъ въ этомъ одухотворения сфраго фона русской жизни, въ этомъ созданіи высокаго строя мысли, въ силъ и страстности стремленія привести въ соотвътствіе русскую дъйствительность съ высшими потребностими культуры и заключается историческій смыслъ русскаго гегельянства, который, строго говоря, и не былъ никогда опредёленнымъ міровозарёнісяв, который то прославляль «действительность», то нападаль на нее, то быль консервативень, то разикалень, то даваль толчекь къ преклоненію предъ Западомъ, то, напротивъ того, служилъ исходнымъ пунктомъ самаго исключительнаго націонализма.

Провозвъстникомъ гегельянства въ кружкъ Станкевича явился по преимуществу Михаилъ Бакунинъ. Этому отставному артиллерійскому офицеру предстояло пріобрасть въ 60-хъ и 70-хъ годахъ всемірную изв'ястность въ качеств'я самаго крайняго изъ самыхъ крайнихъ утопистовъ. Онъ создалъ теорію безпощаднійшаго анархизма и полнаго упраздненія государственности. Стоявшій въ то время во главъ соціалистическаго движенія Карль Марксь должень быль прибъгнуть къ исключению Бакунина изъ главнаго органа партіи — «Международнаго общества рабочихъ» для того, чтобы устранить даже тынь солидарности съ этимъ апостоломъ всеобщаго разрушенія. Но по странной ироніи судьбы тогь же Бакунинь, который въ серединъ 40-хъ годовъ, перебравшись въ Европу, выдвинуль въ одной изъ своихъ статей страшный девизъ: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust» (страсть къ разрушенію есть зиждущая страсть), въ концѣ 30-хъ не только не имълъ ничего общаго съ разрушительными стремленіями, во прямо пришелъ къ апоесозу существующаго порядка. На основании Гегелевской философіи создаль онъ теорію преклоненія предъ «дійствиВопросъ о «дъйствительности» и ея «разумности» является центральнымъ пунктомъ всей духовной жизни кружка Станкевича въ эпоху его увлеченія гегельянствомъ и это еще разъ доказываеть, въ какую грубую ошибку впадають тъ, которые, изучая движение 40-хъ годовъ, разсматриваютъ философские взгляды эпохи Бълинскаго исключительно съ научной точки зранія. Не знаменательна ли въ самомъ дълъ та исключительность, съ которою всъ силы ума и сердца Бълинскаго и его друзей обратились на толкование положения Гегеля: «Все дъйствительное-разумно», - положенія въ концъ концовъ второстепеннаго, мимоходомъ высказаннаго въ предисловіи къ «Философін Права». Если вы возьмете какую-вибудь позднійшую исторію философіи и прочтете статью о Гегель, вы тамъ часто не встрытите даже простого упоминанія о формуль «все дыйствительное — разумно» 1). Вотъ до чего маловажной она кажется обыкновенному изследователю рядомъ съ грандіозностью чисто научныхъ притязаній гегелевской философіи дать абсолютную истину о сущности всего вірового процесса. Но для русскаго человіка сороковых в годовь, который накинулся на гегелевскую философію не изъ жажды научнаго знанія, а потому, что ему надо было немедленно решить вопросъ, какъ ему жить, все отступило предъ жгучестью ужасныхъ сомивній, вносимыхъ формулой.

Сомнънія эти имъли истинно-трагическій характеръ; формула въ корнъ подрывала всъ стремленія кружка, дълала безсмысленными всъ его благородные порывы. Люди съ негодованіемъ отбросили всякую мысль о какихъ бы то ни было компромиссахъ, сосредоточили всъ свои помыслы на исканіи абсолютной, безпримъсной истины и этимъ самымъ, конечно, должны были порвать всякую связь съ пошлостью и несовершенствами окружающей среды, и вдругъ—«все дъйствительное—разумно!» Значитъ, и кръпостное право разумно, и превосходенъ весь тотъ строй, который возмущалъ еще Чацкаго, и

<sup>4)</sup> Укажу на цѣлую книгу о Гегелѣ Кэрда (М. 1898), на огромную статью-трактатъ Владиміра Соловьева вь "Энцикл. Словарѣ" Брокгаузъ-Ефрона.

нътъ ничего дурного въ той «неправдъ черной», о которой говорили даже такіе апологеты общаго уклада русской жизни, какъ Хомяковъ. Словомъ, правы Булгаринъ и Гречъ: «Громъ побъды раздавайся, веселися, храбрый Россъ!»

Какъ бы отнеслись къ такому ужасному диссовансу люди, заинтересовавшіеся гегельянствомъ съ чисто научной точки зрѣнія? Они бы, конечно, спокойно отбросили или формулу, или всю систему, разъ она приводитъ къ противорѣчію, которое ставитъ крестъ надъ всѣмъ, что составляетъ основу ихъ духовнаго существа. Но въ томъ-то и дѣло, что члены кружка Станкевича не столько умомъ, сколько сердцемъ примкнули къ гегельянству, они гегельянство не только усвоили,—они въ него увѣровали. Ихъ въ гегельянствъ прельстило его притязаніе дать абсолютную истину. А разъ абсолютная истина, какія же могутъ быть частныя противорѣчія?

И вотъ получилась дилемма, выходъ изъ которой былъ найденъ только чрезъ несколько леть, когда ваши гегельянцы поняли, что Гегель, при всемъ консерватизмѣ своихъ спеціально-государственныхъ возэрвній, не все существующее признаваль дийствительнымо. Следовательно, формула «все дойствительное — разумно» не означаетъ, что «все существующее разумно» и не узакониваетъ всякій порядокъ вещей только въ визу того, что онъ-фактъ. Но, повторяю, до этой оговорки наши гегельянцы доискались позже. Цълыхъ же два года, между 1838 и 1840 годомъ, будущій создатель анархизма Бакунинъ, вірный фанатическому складу своего ума и чисто-русской способности jurare in verba magistri, во имя Гегеля восивваль «действительность» конца 30-хъ годовъ во всей ея совокупности. Бълинскій, не оглядываясь, пошель за нимъ. Онъ написалъ въ 1840 г. известную статью о «Бородинской годовщинъ», гдъ преклонение передъ существующимъ порядкомъ вещей дошло до того, что многіе, и притомъ совствиъ не люди крайнихъ убъжденій, съ нимъ раззнакомились. Статья была написана въ своего рода состоянім аффекта. Внутренно содрагаясь отъ сознавія, что обрекаетъ себя на нравственную смерть, Вълинскій тъмъ не менъе безстращно шелъ на все ad majorem Hegelii gloriam. Не доходить до конца для него было равносильно измене. Именно по

поводу статьи о «Бородинской годовщинё», Герцевъ говорить, что Бѣлинскій, разъ усвоивши себѣ то или другое воззрѣніе, «не блѣдпѣлъ ни передъ какииъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ 
моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ 
страшатся люди слабые и несамобытные. Въ немъ не было робости, 
потому что онъ былъ свленъ и искрененъ, его совѣсть была чиста». 
Понявши извѣствымъ образомъ формулу Гегеля, онъ проповѣдывалъ 
въ концѣ тридцатыхъ годовъ «индійскій покой созерцавія и теоретическое изученіе виѣсто борьбы», проповѣдывалъ съ тою же лихорадочною страстностью, съ какою чрезъ полтора - два года нападалъ 
на представителей квіетизма, и требовалъ активнаго противодѣйствія 
тяжелымъ общественнымъ условіямъ дореформенной эпохи.

Таковы общіе контуры русскаго гегельянства, столь мало им'ющіе общаго съ заправскою философіею. И эту же мало-научную и исключительно-жизненную окраску носять всё дальнёйшія движенія русской теоретической мысли, вплоть до нашихъ дней. Посл'я Гегеляфранцузскіе утописты 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ — нѣмецкіе матеріалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ годахъсоціологія; въ наши дни - марксизмъ и идеализмъ, все это не более какъ отправные пункты, отъ которыхъ идуть самостоятельные русскіе пути. У насъ, какъ изв'ястно, установился особый твиъ критическихъ статей «по поводу», въ которыхъ собственно о самомъ произведеніи говорится весьма мало, а выясвяются разные вопросы общественной жизни. Ну, вотъ и философскія системы Запада у насъ были не больше, какъ поводомъ къ выработкъ чисторусскихъ общественныхъ системъ. Такъ, умственное движеніе, напитавшееся идеями ваучнаго матеріализма и утилитаризма, въ результатъ дало самое самоотверженное и великодушное изо всъхъ русских поколеній --- альтруистовь 70-х годовь; такъ, напротивъ того, прикрываясь эстетическимъ и философскимъ идеализмомъ, выступило на смвну «кающемуся дворянству» 70-хъ годовъ черствое и неискреннее поколиніе 80-хъ и начала 90-хъ головъ.

Возвращаясь опять къ эпохѣ Бѣлинскаго, отмѣчу еще то, что изъ одного и того же гегельянства вышли не только два такихъ непохожихъ теченія, какъ прославленіе «дѣйствительности» и на-

падки на нее, но и оба діаметрально-противоположныя міровозэр'внія, борьба между которыми не кончилась до сихъ поръ: славяно фильство и западничество. Ультра-національное, славяно-византійское ученіе Константина Аксакова, Кир'в'евскаго и Хомякова брало многія схемы своихъ возэр'вній у Гегеля эпохи его возведенія прусска-протестантскаго строя 20-хъ годовъ въ перлъ созданія. Но, констано, все это подверглось вполн'в русской переработкі и телько переработка и интересна для историка русской мысли, совершенно тезависимо отъ того, въ какомъ видів тутъ является подлинный, «научени» Гегель.

📲 🗷 зълицъ, вошедшихъ въ составъ кружка Станкевича, послъ рово, какъ овъ оставилъ университетъ, кромъ Бакунина, слъдуетъ еще отмътить  $Bacunin\ Eomkuha$  1). Для средняго читателя это имя говорить очень мало. Въ лучшемъ случав его знають какъ автора «Писемъ объ Испаніи», произведенія уже по самому роду своему могущаго инъть только второстепенное значение. И тъмъ болье, что оригинальность «Писемъ» сильно заподозрѣна. между тэмъ, Василій Боткинъ имфетъ безусловно серьезное знаденіе въ исторіи нов'яйшей русской литературы. Оно аналогично знатанкевича, съ тънъ только отличіемъ, что Станкевичъ въ одинаковой степени вліяль и высотою правственной своей личности, и своими замъчательными интеллектуальными силами, между твиъ какъ Воткинъ оказывалъ вліяніе только въ сферъ интеллектуальной своими замізчательными познаніями по литературіз и искусству и своимъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ. Кромъ того, Станкевичъ повліяль на весь кружокт, а Боткинъ телько на одного изъ членовъ его. Но за то этотъ одинъ былъ Бълинскій. Разибръ вліянія виденъ изъ того, что когда въ 1857 году Дружининъ приступалъ къ ряду статей о Бѣлинскомъ, онъ собирался примо заявить о первостепенномъ значении, которое имълъ Ботвинъ для всего хода уиственного развитія знаменитого критика. Ботвинъ поспъшилъ отклонить отъ себя эту великую честь и просилъ

<sup>&#</sup>x27;) На Катковъ я останавливаться не буду. Его значение относится въ послъдующей эпохъ.

Дружинина «какъ можно меньше говорить о какой-либо помощи, какую я могь оказывать Бёлинскому». Со свойственной ему скромностью Боткинъ прибавилъ: «И какъ можно мнѣ объ этомъ судить? Это дѣло посмертныхъ замѣтокъ, т. е. замѣтокъ обо мнѣ, когда я умру. Найдутся люди, которые теперь сочтутъ такого реда «извѣстія» за поползновенія съ моей стороны придать себѣ какое-то ничѣмъ не дохазанное значеніе, а васъ за снисходительнаго сотрете. Нѣтъ, оставимъ лучше это дѣло. То время было то, что нѣмцы называютъ Sturm und Drang Periode. Все въ нась кипѣло и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалѣ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бълинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разъбереть?» 1).

Въ 1857 году действительно трудно было разобраться. Но двадцать лёть спустя появилась книгъ Пыпина о Бъвъ линскомъ съ тъхъ поръ ставщая знаменитою переписка Бълинскаго съ Боткинымъ и изъ нея вполыв ясно, что если «одинъ меньше» изъ членовъ кружка, а другой «больше» вліяль на великаго выумственнаго возбужденія 40-хъ годовъ. «больше» вліяль Боткинь. И если признать Бѣлинскаго важивация явленіемъ эпохи, то и Василій Боткинъ, мало кому изв'ястный и никъмъ не читаемый, получаетъ крупное историческое значеніе. Оно зиждется на томъ, что Боткинъ быль главнымъ посредникомъ между Белинскимъ и западно-европейскимъ искусствомъ. Тонкое эстетическое чутье было, конечно, прирожденное у Бълинскаго, но въ постоянномъ общени съ Боткинымъ оно окрѣпло и возмужало. На съ къмъ Вълинскій не обмѣнивался такъ охотно мыслами по чисто-литературнымъ вопросамъ, какъ съ Боткинымъ. Въ личныхъ отношеніяхъ, никого Бѣлинскій не любилъ съ такою вѣжностью. какъ Боткина, который быль для него живымъ воплощеніемъ

<sup>4)</sup> Это замічательное місто, важное какъ для характаристики Боткина, такъ и для характеристики Болинскаго, совстить не обращало на себя вниманія изслітдователей эпохи 40-хъ годовъ. Оно находится въ «Сборникт общ. вспомощ. нужд. литер. и ученымъ, XXV літъ». (Спб. 1884 г.) стр. 500.

мецкой поэзіи, нѣмецкой музыки и всѣхъ вообще чисто-эстетическихъ эмопій.

Въ своей личной литературной карьерѣ Боткинъ не процвѣлъ. Это очень поучительно и вполнт соотвттствуетъ основной чертт новъйшей русской литературы, указаніемъ на которую, подобно катоновскому caeterum censeo, изследователь должень заканчивсякую характеристику литературнаго деятеля последнихъ 50-60 латъ: для вліянія на русскаго читателя нужна всего глубина убъжденія, нужно явиться представителемъ определеннаго міросозерцанія. У Боткина были обширныя поснанія, недюжинный умъ, тонкій вкусъ, не было у него недостатка и во внѣшнихъ литературныхъ достоинствахъ. Но у него совсѣмъ не было желанія схватиться на жизнь и на смерть за свои уб'яжденія, и во всемъ его духовномъ существъ царилъ холодъ. Вотъ имбетъ Боткинъ самъ по себъ немногаго стоитъ и только какъ источникъ духовнаго возбужденія Бълинскаго. Приставьте къ скромному источнику свъта большой блестящій рефлекторъ, и оба вивств они будутъ бросать яркій світь на далекое разстояніе. Умеръ Бълинскій-и Боткинъ исчезаеть изъ исторін русской литературы. Исчезаеть даже его личная привлекательность, столь неотразимо действовавшая на Белинскаго, который быль влюбленъ въ него, какъ въ женщину. Всегда сидъвшій въ Боткинъ эпикуреизмъ превращается въ 50-хъ и 60-хъ годахъ въ какую-то отвратительную ходю тела и обжорство. Еще более печальный оборотъ приняла духовная жизнь Боткина. Эстетизмъ въ немъ тоже превратился въ какую-то литературную гастрономію и общественное возбужденіе, наступившее посл'є крымской войны, не только не вызывало никакого сочувствія въ недавнемъ поклонникъ французскихъ утопистовъ, а страшно его раздражало. Онъ не могъ 60-мъ годамъ ихъ пренебрежения къ искусству и въ своемъ брюзжаніи дошель до того, что въ разговорахь съ знакомыми цензорами натравливаль ихъ на репрессивныя мёры. Такъ печально кончиль (въ 1869 г.) другъ Бълинскаго, который въ ужаст перевернулся бы въ гробу, если бы до него дошло то письмо къ Фету, гдв Боткинъ съ полною атрофіей нравственнаго чувства повъствуетъ о своихъ «указаніяхъ» цензорамъ. Боткину было дано большое умственное богатство, но не было дано соотвътственнаго богатства душевнаго.

Перейдемъ теперь ко второму увиверситетскому кружку. Онъ былъ менве многочисленъ, чёмъ кружокъ Станкевича, и собственно это даже не былъ кружокъ. Просто два студента физико-математическаго факультета Александръ Герценъ и Николай Огаревъ, къ тому-же дальніе родственники, поступивъ въ университетъ, продолжали вести пламенную, романтическую дружбу, возникшую между ними, когда они еще были мальчиками. Изъ другихъ студентовъ чаще другихъ приходили къ друзьямъ и были душевно съ ними близки: Сатинъ, впослъдствіи переводчикъ Шекспира, Вадимъ Пассекъ — рано умершій этнографъ, и Кетчеръ — медикъ по спеціальности, но страстный любитель литературы и тоже переводчикъ Шекспира, весельчакъ и остроумный maîre de plaisir московской литературной молодежи.

Вліяніе небольшого кружка Герцена и Огарева на литературу въ началѣ эпохи Бѣлинскаго было совершенно незвачительно, но по чисто-внѣшнимъ причивамъ. Въ 1834 году Герцевъ, вмѣстѣ съ Огаревымъ и Сатинымъ, были привлечены къ раздутой исторіи объ университетскихъ кандидатахъ, устроившихъ по случаю окончанія курса пирушку, во время которой пѣли антиправительственныя пѣсни. Ни Герцевъ, ни Огаревъ участія въ пирушкѣ не принимали, и суровое наказавіе, постигшее дѣйствительнымхъ участниковъ, ихъ миновало. Но захваченныя при обыскѣ у нихъ бумаги показывали, что друзья очень интересуются французскими соціальными системами и особенно сенъ-симонизмомъ,—и этого было достаточно, чтобы признать мхъ виновными. Герцевъ былъ сосланъ въ Пермь, Сатинъ въ Симбирскъ, Огаревъ, изъ вниманія къ его отцу, котораго въ то время разбилъ апоплексическій ударъ,—въ Пензу.

Только въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву и получилъ возможность принять более или мене деятельное участие въ литературе. Его обширныя познанія, огромный умъ и замечательный, искрящійся блестками тончайшаго остроумія, литературный талантъ не замедлили обратить на него вниманіе. Темъ не мене, ознаком-

леніе съ Герценомъ только эпизодически должно входить въ исторію лятературы сороковыхъ годовъ. Герценъ входитъ, главнымъ образомъ, въ исторію литературы слъдующей эпохи, конца 50-хъ годовъ, когда онъ достигъ безпримърнаго вліянія и значенія, когда въ словамъ его съ одинаковымъ волненіемъ и съ одинаковою симпатіею прислушивались во всъхъ слояхъ русскаго общества, не исключая дворцовъ и министерскихъ совътовъ.

Въ 40-хъ годахъ дъятельность Герцена, писавшаго подъ псевдонимомъ Искандера, была тоже очень замътна, но, все-таки, не такъ, какъ впоследствии. Она выразилась въ ряде блестяще-написанныхъ статей, протестовавшихъ противъ той науки, которая замыкается въ себъ и создаетъ только цеховыхъ ученыхъ. Наука должна воздъйствовать на жизнь, должна идги навстрвчу разрвшенію назрввающихъ вопросовъ современности. Кромъ статей философско-критическаго характера, Герценъ въ 40-хъ годахъ написалъ нъсколько замібчательных беллетристических произведеній, иногда недостаточно художественно-законченныхъ, но всегда вдумчивыхъ и проникнутыхъ серьезнымъ убъжденіемъ. Особенное впечатлъніе произвела небольшая повъсть «Сорока-воровка», съ ея косвеннымъ осужденіемъ крупостного права, и романъ «Кто виноватъ». Романъ ставиль, хотя и не разрѣшаль ни въ ту, ни въ другую сторону вопросъ о семейныхъ отношеніяхъ и правахъ сердца свободно любать. Въ лицъ же героя романа-Бельтова, было очерчено, кромъ того, трагическое положение русскаго человъка съ высшими потребностями, не имъющаго возможности приложить свои силы къ общественной д'ятельности и принужденнаго всю жизнь скигаться безъ опредъленной цъли.

Во внутренней жизни русской передовой интеллигенцій 40-хъ годовъ Герценъ, еще не обрисовавшійся во всю свою величину для читающей публики, сразу пріобръль не меньше значенія, чъмъ впослъдствіи. Болье всёхъ онъ содъйствоваль огрышенію отъ узкаго пониманія гегельянства, какъ апоесоза всякаго существующаго явленія. Когда въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву, онъ засталь теорію преклоненіи предъ разумностью всякой «дъйствительности» во всемъ ея бъснованіи и ужаснулся. Чтобы бороться съ привержен-

дами этой теоріи ихъ же собственнымъ оружіемъ, онъ засёль за Гегеля и со свойственнымъ ему блескомъ способностей быстро освоился какъ съ самымъ Гегелемъ, такъ и съ его школою. Школа Гегеля тогда уже начинала распадаться на консервативное, правое гегельянство и гегельянство ливое, давшее вскорт дтятелей въ родт Карла Маркса. Герценъ явился провозвъстникомъ этого лъваго гегельянства и пришелъ къ выводамъ діаметрально-противоположнымъ тъмъ, которые завладъли умомъ и сердцемъ членовъ кружка Станкевича. Произошла жестокая схватка съ Бълинскимъ и молодые люди, горячо полюбившіе другь друга, разошлись. Бълинскій, глубоко потрясенный, убхаль въ Петербургъ. Но прошель годъ съ небольшимъ, сометвія, брошенныя Герценомъ, взошли въ чуткомъ сердцъ Вълинскаго, онъ трезво взглянулъ на неприглядную «дъйствительность», и когда въ 1841 году друзья свиделись, между вими уже не было разногласій и они пошли, рука объ руку, по пути выработки новой общественной программы.

Другъ Герцена-Огаревъ всепьло напомиваетъ Станкевича. Человъкъ скромный, хотя и полный въры въ великое призваніе, тихій и заствичивый, Огаревъ неотразимо действоваль на всякаго, кто быль чутокъ къ душевной красотъ. Вокругъ него всегда создавался особый «Огаревскій культь», въ его присутствін люди, какъ въ общени со Станкевичемъ, становились лучше и чище. Но не только высокимъ строемъ своего вравственнаго существа выдълялся Огаревъ. Человъкъ обширнаго, энпиклопедическаго образованія, онъ оказываль сильное вліяніе на своихъ друзей и умственнымъ богатствомъ своимъ. Мало продуктивный въ печати, овъ благотворно вліяль личной бесёдой, дёлясь богатымь запасомь своихь знаній, давая широкія обобщенія, высказывая яркія мысли и притомъ часто въ очень яркихъ образахъ. Какъ поэтъ онъ въ разсматриваемую эпоху обрисовался вполнъ, хотя нъкоторыя изъ лучшихъ произведеній его написаны въ 50-хъ годахъ. Рано определились основныя черты почти безпричинно-меланхолической, женственно-мигкой музы Огарева. Его лиръ, можетъ быть, самой нъжной во всей русской поэзіи, были совершенно чужды мужественные аккорды. И это находится въ странномъ противорфоіи съ теоретическими воззрфніями

Огарева, всегда крайними и рѣшительными. Поэзія Огарева, всю жизнь составлявшаго предметъ неусыпнаго вниманія надзирающихъ вѣдомствъ и съ конца 50-хъ годовъ ставшаго однимъ изъ главарей русской эмиграціи, поражаетъ почти полнымъ отсутствіемъ элемента протеста. Тихая грусть о прошедшемъ и разбитомъ счастьѣ, искреннѣйшее чувство всепрощенія и того, что на жаргонѣ 40-хъ годовъ называлось «резиньяціей»,—вотъ наиболѣе характерныя черты творчества Огарева. Ръ пензенской ссылкѣ своей Огаревъ написалъ стихотвореніе «Друзьямъ», гдѣ затровуто постигшее ихъ несчастіе. Кого бы не озлобила несправедливая кара? На Герцена она такъ и подѣйствовала, укрѣпивъ въ немъ протестующее настроеніе. У Огарева-же вотъ чѣмъ закапчивается картина крушенія лучшихъ надеждъ:

Мы много чувствь, и образовь, и думъ Въ душъ глубоко погребли... И что же—Упрекъ ли небу скажетъ дерзкій умъ? Къ чему упрекъ? Смиренье въ душу вложимъ, И въ ней затворимся безъ желчи, если можемъ.

#### II.

Мы ознакомились съ теми деятелями разсматриваемаго періода, которые примыкали къ московскимъ студенческимъ кружкамъ. Объ остальныхъ деятеляхъ эпохи удобнее будетъ сказать въ связи съ очеркомъ литературно-общественныхъ партій, образовавшихся въ начале 40-хъ годовъ. Ворьба этихъ партій составляетъ главное содержаніе эпохи Белинскаго, эпохи теоретической выработки міросозерцанія по преимуществу, такъ какъ чисто-художественныя силы новаго поколенія проявились только въ самомъ конце эпохи.

Окончательное выдъленіе литературно-общественных партій произошло около 1842—3 года. Я подчеркиваю слово общественных, потому что это было явленіе совсѣмъ новое. Еще какихънибудь пять, десять лѣтъ тому назадъ литература наша, какъ явленіе общественное, представляла собою одну почти однородную массу и совсѣмъ не знала отличій, основанныхъ на разницѣ общественнаго міросозерцанія. Въ журналистикѣ были личныя дрязги, господство-

вали личныя симпатіи и антипатіи, шла борьба чисто-художественных стилей, какъ напр., та борьба, которую засталь Бѣлинскій—между классицизмомъ и романтизмомъ. Разницы же общественно-политическихъ идеаловъ почти не было. Этимъ, между прочимъ, слѣдуетъ объяснить, почему преклоненіе предъ «дюйствительность» могло съ такою силою захватить «неистовую», по существу, дущу Бѣлинскаго.

Но въ сороковыхъ годахъ литературу и журналистику уже никакъ нельзя было назвать однородною массою. Образовались три ръзко намъченныя партіи, неръдко сходившіяся въ чисто-литературномъ отношеніи (славянофилы и западники, напримъръ, одинаково восторженно относились къ Гегелю), но совершенно расходившіяся въ указаніи тъхъ путей, по которымъ каждая изъ партій хотъла направить исторію русской гражданственности. Двъ изъ этихъ партій еще въ сороковыхъ годахъ получили названія славянофильства и западничества, третья не имъла опредъленнаго названія въ 40-хъ годахъ, не смотря на полную опредъленность своей духовной физіономіи, и только позднъе, въ 70-хъ годахъ, А. Н. Пыпинъ весьма удачно назвалъ ее партіей оффиціальной народностии.

Партія оффиціальной народности состояла изъ печальной памяти тріумвирата — Булгарина, Греча и Сенковскаго въ Петербургѣ и дуумвирата—Погодина и Шевырева въ Москвѣ. Первые три имѣли въ своемъ распоряженіи пресловутую газету «Сѣверчую Пчелу» и «Библіотеку для Чтенія», послѣдніе издавали «Москвигянинъ». Имѣя очень много общаго между собою, московскіе представители теоріи оффиціальной народности въ нравственномъ отношеніи стояли, все-таки, гораздо выше своихъ петербургскихъ братьевъ по духу. Въ петербургскомъ тріумвиратѣ тоже нужно отдѣлить Сенковскаго отъ Греча, а Греча отъ Булгарина.

Буларинъ представлялъ собою нѣчто крайне-антипатичное со вспъхъ точекъ зрѣнія. Онъ громко кричалъ о своей преданности тріацѣ: самодержавіе, православіе и народъ, но эта мнимая преданность по существу была только угодничествомъ самаго низменнаго свойства и вызывала брезгливое чувство даже въ тѣхъ сферахъ, предъ которыми пресмыкался Булгаринъ. Можно ли было вѣрить въ

искреннюю преданность православію этого недавняго католика, можно ли было допустить искреннее увлечение идеею русской народности въ полякъ, сражавшемся подъ знаменами Наполеона? Наконецъ, «двойной присягою играя», Вулгаринъ преклонялся и предъ самодержавіемъ искочительно какъ предъ власть имущею силою. До декабрьской катастрофы онъ быль въ тесной дружбе съ кружкомъ Рылбева, и если даже ничего не зналъ о заговоръ, то, все-таки, вполит раздъляль конституціонныя идеи декабристовъ. Теперь же онъ выражаль свою преданность нев роятно холопскимъ языкомъ, который своимъ азіятскимъ пресмыкательствомъ, напоминающимъ какую-нибудь Бухару или Коканъ, глубоко возмущалъ решительно вствъ и всего болте людей, искренно преданныхъ идет монархической власти. Императоръ Николай, который не любилъ грубой лести, быль весьма невысокаго мивнія о редактор'в «Стверной Пчелы». Въ области чисто-литературной Булгаринъ былъ представителемъ самаго грубаго вкуса. Этотъ позорный руководитель значительной части такъ называемой средней публики 40-гъ годовъ самымъ искреннимъ образомъ приравнивалъ Гоголя Поль-де-Коку. И въ довершение Булгаринъ былъ мелко-продаженъ, писалъ грубыя рекламы гостиницамъ, гдв его даромъ кормили, и купцамъ, приносившимъ его домашнимъ по куску матеріи. Для характеристики публики, довольствовавшейся газетой Булгарина и изъ нея черпавшей представление о государственной жизни Россіи и Европы, следуеть прибавить, что общій уровень «Стверной Пчелы», помимо пошлости и пресмыкательства, поражаеть своею мелкотою. Самыя крупныя явленія государственной жизни оставались веб обсужденія единственной ежедневной русской газеты, что, впрочемъ, Булгарину нельзя вмёнять особенно въ вину. Когда онъ однажды, по поводу одного правительственнаго распоряженія. воспёль ему самый восторженный дифирамбъ, то получиль за это серьезное внушеніе. «Правительство въ твоихъ похвалахъ не нуждается», сказалъ ему начальникъ третьяго отдёленія Дубельть. обращавшійся съ главнымъ представителемъ тогдашняго «общественнаго мивнія», какъ теперь не обращаются съ лакеемъ. «Театръ, выставки, гостиный дворъ, толкучка, трактиры, кондитерскія-вотъ твоя область, а дальше ея не моги ни шагу».

Второй представитель партіи «оффиціальной народности», соиздатель «Сѣверной Пчелы»—Гречъ, былъ и чистоплотнѣе, и образованнѣе Булгарина. Но педантъ по преимуществу, и человѣкъ съ весьма мелкимъ кругозоромъ, совершенно неспособный слѣдить за духомъ времени и застывшій на литературныхъ трэдиціяхъ 20-хъ годовъ, онъ не вносилъ въ газету ничего такого, что бы коть сколько-нибудь возвышало ея низменный уровень. Поэтому его имя въ исторіи русской литературы не отдѣляется отъ имени Булгарина и оба вмѣстѣ они явллются синонимомъ крайнихъ предѣловъ сервильности и литературной пошлости.

Третій членъ петербургскаго тріумвирата, одно время мечтавшаго монополизировать въсвоихърукахъ всю русскую печать, — Сенковскій-Брамбеусь иміль всі данныя для того, чтобы стать первостепеннымъ дъятелемъ. Человъкъ замъчательной и разносторонней учености, писатель безспорнаго таланта и выдающагося остроумія, Сенковскій придаваль интересь каждому изъ тёхъ разнообразныхъ сюжетовъ, которыхъ онъ касался въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ. Но, къ сожалънію, онъ былъ лишенъ всякаго опредъленнаго міросозерцанія и всякихъ идеаловъ. Онъ смізлся ради сміза. И оттого, въ концъ концовъ, его недюживное остроуміе было не что иное, какъ кувырканіе, производимое единственно для того, чтобы вызвать рукоплесканія толпы. Даже въ серьезныхъ статьяхъ его часто нельзя было отличить, говорить ли онь серьезно или мистифицируеть. Объ искренней преданности идет русской оффиціальной народности со стороны этого польскаго Мефистофеля смешно было и говорить. Единственно, что въ немъ было искренняго, -- это презрѣніе къ русской публикъ и непонимание новаго литературнаго движения. Послъднее находило себъ еще органическую поддержку въ томъ, что Сенковскій, при всей своей разносторонней образованности и талавтливости, быль лишевъ эстетическаго вкуса. Гоголя онъ не понималь вполет искренно и фольга Кукольника ему не на шутку казалась настоящимъ литературнымъ золотомъ.

Для разсматриваемаго нами періода Сенковскій, впрочемъ, не вижетъ особеннаго значенія. Зопоза блестящаго его успъха—это средина 30-хъ годовъ. Публика, привыкшая къ тощимъ журналамъ

того времени, съ одной стороны была ошеломлена прекрасно-обставленнымъ литературнымъ магеріаломъ толстыхъ книжекъ «Библіотеки для Чтенія», а съ другой ей нравилось язвительное остроуміе барона Брамбеуса. Но успѣхъ былъ непродолжителенъ и въ конпѣ 30-хъ годовъ толщина книжекъ «Библіотеки для Чтенія» никого уже не ошеломляла, потому что и другіе журналы послѣдовали примѣру «Библіотеки», а пряность лишеннаго внутренняго содержанія хихиканія Брамбеуса пріѣлась.

Московскіе представители теоріи оффиціальной народности-Погодинъ и Шевыревъ, какъ явленіе правственнаго порядка, стояли гораздо выше своихъ петербургскихъ соратниковъ. Погодина представляль собою удивительную смёсь черть крайне несимпатичныхъ съ дътскою простотою и добродушіемъ. Человъкъ болье чымь себь на умѣ, сумѣвшій продать за 150,000 р. свое знаменитое «древлехранилище», составившееся изъ добровольныхъ пожертвованій, онъ вивств съ твиъ быль часто очень непрактиченъ. Самъ эксплоатируя своихъ сотрудниковъ и даже слушателей-студентовъ, онъ, вибств съ тамъ, легко давалъ и себя эксплоатировать. Но политическимъ воззрвніямъ своимъ это быль опортюнисть по преимуществу. Овъ преклонялся передъ всякою силою. Такъ, лишь только въянія измънились съ наступленіемъ новаго парствованія, и Погодинъ заговориль о необходимости «обновленія» того самаго порядка вещей, предъ которымъ столь недавно преклонялся такъ безусловно. До Севастополя Погодинъ былъ типичный представитель увфренности, что мы Европу шапками закидаемъ, послъ Севастополя все это какъ рукой сняло и въ извъстныхъ застольныхъ спичахъ 1857 года голосъ Погодина звучалъ въ унисонъ съ общинъ самообличительнымъ тономъ. Отправившись за границу, Погодинъ даже постарался имъть свиданіе съ Герценомъ, съ которымъ овъ, конечно, спорилъ объ очень многомъ, но который, все-таки, въ эпоху своего огромнаго вліянія инстинктивно притягиваль къ себѣ его искренно-угодливую натуру. А какъ только кончился медовый мёсяцъ россійскаго прогресса, сошло и съ Погодина необычное настроение, и сталъ онъ снова представителемъ «патріотизма» охотнорядскаго пошиба. Въ разсматриваемую эпоху «направленіе» Погодина сводилось къ тому.

что онъ славословилъ безъ всякихъ оговорокъ. Личный другъ славянофиловъ, Погодинъ, однако, крайне враждебно относился къ тъмъ сторонамъ славянофильского ученія, гдв славословіе переходило въ демократизмъ. Апологія общиннаго и соборнаго начала, вражда къ чиновничеству-вся эта оппозиціонная часть славянофильскаго ученія находила въ Погодинъ суроваго порицателя. Онъ желаль быть только пріятнымъ. Но, повторяю, въ этомъ желанія было много чисто-инстинктивнаго, рождавшагося въ душт Погодина почти непроизвольно. Въ квасномъ патріотизмѣ Погодина, въ его прославленін всего «русскаго», начиная съ русскихъ формъ государственной жизни и кончая тульскими самоварами и московскими калачами, было, помимо желанія угодить, и много искренности, искренности, правда, очень наивной и смешноватой, но все-таки неподдельной. И вотъ почему у Бълинскаго и его друзей не было даже особенной охоты съ нимъ серьезно спорить. Его больше вышучивали и пародировали.

Шевырево быль человъкъ иного душевнаго склада. Во многихъ отношеніяхь онъ стояль выше своего соиздателя и товарища по профессуръ. Ни грубымъ карьеристомъ, ни человъкомъ себъ на умъ его нельзя было назвать. Интересы духовные въ немъ преобладали. Образованіе онъ имель хорошее, спеціальных знаній у него тоже было много, какъ по исторіи всеобщей, такъ и по исторіи русской литературы и некоторыя его работы не утратили своего значенія до сихъ поръ. Какъ профессоръ онъ, во всякомъ случать, будилъ мысль стремленіемъ къ широкимъ обобщеніямъ и желаніемъ создать опредъленное міросозерцаніе. Вотъ почему въ началь и срединь тридцатыхъ годовъ онъ пользовался симпатіями лучшей части студенчества, на-ряду съ Павловымъ и Надеждинымъ, и былъ представителемъ новаго теченія университетскаго преподаванія. Но уже черезъ нъсколько лёть вся его дёятельность приняла совсёмь иное направленіе. Педантизмъ взялъ верхъ надъ возбужденностью первыхъ лѣтъ профессорства. И такъ какъ живого пониманія у Шевырева не было, то онъ всегда терялъ чувство мфры, но терялъ его не въ порывф страстнаго увлеченія, а именно какъ педантъ, потому что искусственно взбадриваль себя. Въ его хватаніяхъ чрезъ край никогда не

чувствовалось глубокой вёры, а всегда явственно проступала напыщенная надутость. Это онъ, главнымъ образомъ, довель теорію «смиренія», какъ главной исторической черты русскаго народа, до техъ предъловъ, гдъ она является полнымъ искажениемъ реальныхъ очертаній дійствительной исторической жизни. Это онъ главнымъ образомъ, а че славянофилы, какъ обыкновенно думаютъ, провозглащалъ, что «Западъ сгиилъ». Не было у него также непосредственнаго живого пониманія искусства и, за исключеніемъ обусловленнаго личною пріязнью «гоголефильства», всв его литературныя сужденія не имбють никакого значенія. Воображая себя глубокимь цінителемь всёхь родовъ искусства и литературы. Шевыревъ на самомъ деле былъ совершенно лишенъ эстетическаго вкуса и наговорияъ много такого, что прямо стало образчикомъ педантической напыщенности и безвкусицы. Добродушія, отчасти примиравшаго съ Погодинымъ, у него не было и тъпи. Шевыревъ былъ здой самолюбецъ, никогда не прощавшій, если его задівали, всегда вносившій во всякую полемику самое тяжелое раздражение. Отъ него нельзя было отдълаться однимъ вышучиваніемъ и пародированіемъ, какъ это дёлалось по отношенію къ Погодину, надо было вести съ нимъ споръ серьезно. И такъ какъ онъ, защищая свое міросозерцаніе, вичъмъ не былъ стъсненъ и имклъ полную возможность выдвинуть весь свой запасъ аргументовъ и нападокъ, между тъмъ какъ противники вынуждены были еле-еле намъчать свои доводы въ самыхъ общихъ и неясныхъ очертавіяхъ, то и они, въ свою очередь, не могли не быть раздражены. Все это сдълало Шевырева предметомъ страстныхъ нападокъ Вълинскаго и его друзей. Изъ всёхъ представителей теоріи «оффиціальной народности» только съ нимъ однинъ и стоило спорить: Булгаринъ былъ слишкомъ омерзителенъ, Гречъ слишкомъ мелокъ, Сенковскій выдохся, Погодинъ былъ забавенъ по-преимуществу и только борьба съ Шевыревымъ доставляла наслаждение побъды.

Вторая литературно-общественная партія, выдёлившаяся въ 40-хъ годахъ и унаслёдовавшая насмёшливую кличку «славянофиловъ» (нёкогда данную карамзинистами защитнику «стараго слога» Шишкову), выставила на своемъ знамени ту же формулу, во имя которой дёйствовала партія «оффиціальной народности»: самодержавіе, право-

славје и народъ. Но въ пониманіи элементовъ этой формулы славянофилы настолько разошлись не только съ Булгаринымъ и Гречемъ, но и съ Шевыревымъ и Погодинымъ, что смѣшивать обѣ партіи воедино прямо оскорбвтельно для идеально-высокаго настроенія, изъ котораго вытекло славянофильство. То, что у Булгарина и Греча было результатомъ грубаго пресмыкательства и угодичества, у Погодина опортюнизмомъ, у Шевырева надутой напыщенностью, у славянофиловъ было проявленіемъ глубокаго одушевленія идеею. Всѣ люди богатые, неслужащіе, вполнѣ независимые, они не руководились никакими практическими разсчетами и дѣйствовали во имя искренняго убѣжденія, что въ исполненіи ихъ программы залогъ величайшаго преуспѣянія Россіи.

По личнымъ, вообще, качествамъ своимъ, славянофилы были люди столь же высокаго душевнаго строя, какъ и ихъ противники. Еще о Хомяковъ можно было бы спорить. Въ искренность этого падкаго на эффекты неутомимаго спорщика и человѣка, любившаго щегольнуть блескомъ своего ума, не всѣ вѣрили. Но братья Кирпевскіе, Самаринъ, а въ особенности «Бѣлинскій славянофильства»—Константинъ Аксаковъ—все это были истинные рыцари духа, благороднѣйшіе идеалисты, въ уваженіи къ которымъ сходились люди всѣхъ направленій.

Преданность славянофиловь иде в самодержавія вытекала изъ изъ убъжденія, что русскій народъ по природ в своей чуждъ «политическаго элемента», что онъ «отдълилъ государство отъ себя и государствовать не хочетъ». И только потому, что русскій народъ «не желаетъ государствовать, онъ предоставляетъ правительству неограниченную власть государственную».

Въ этой теоріи происхожденія русскаго государства, являющейся отголоскомъ старой, созданной Гуго Гроціемъ, теоріи договорнаго возникновенія государства, первостепенное значеніе имѣетъ то, что русскій народъ не потому отказался отъ «государствованія», что не можетъ быть носителемъ власти, а только потому, что онъ не хочетъ. Тутъ, слѣдовательно, существеннѣйшее отличіе отъ обычной теоріи спасительности монархіи, зиждущейся на необходимости сильной власти, какъ единственнаго средства обуздать пагубное свое-

воліє. Ніть, славинофилы были необыкновенно высокаго мнівнія о нравственныхъ качествахъ русскаго народа и всего меніве думали, что онъ нуждается въ сильной власти и обузданіи. Славянофилы мистически поклонялись народу и виділи въ немъ не звітря, а богоносца.

Реди чего-же русскій народъ совершенно отстраниль отъ себя дъжира сего и не хочетъ государствовать? Что взяль онъ себъ замёнь?

«Въ замёнъ того, русскій народъ предоставляеть себё нравственную свободу, свободу жизни и духа».

**На** этихъ началахъ и зиждется единственное истинно-русское повычание основъ нашего государственнаго уклада:

«Правительству—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа—иысли и слова».

Какъ сейчасъ было сказано, русскій народъ, по славянофильскому ученію, только потому отказался государствовать, что не хочетъ. Но это не значитъ, что онъ не интересуется ходомъ государтной жизни. Напротивъ того, онъ внимательно за нею слъдитъ и имъетъ о ней сужденіе, которое правительствомъ непремѣно должно быть выслушано. «Самостоятельно можетъ и долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству—свое мнѣніе (слъдовательно, силу чисто-нравственную), мнѣніе, которое правительство вольно принять и не принять».

Но «какимъ образомъ можетъ правительство вызвать это мивніе?» Отвътъ даетъ русская исторія:

«Древняя Русь указываеть намъ и на дѣло самое, и на способъ. Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнѣніе всей Россіи и созывали для того Земскіе Соборы, на которыхъ были выборные отъ всёхъ сословій и со всёхъ концовъ Россія».

Земскіе Соборы, однако, не то, что западно-европейскіе парла-

«Земскій соборъ имѣетъ значеніе только мнюнія, которое государь можетъ принять и не принять».

Однимъ изъ главнъйшихъ органовъ выраженія мнънія народа славянофилы считали свободу слова, о которой никто въ русской литературъ не говорилъ съ такимъ чисто-экстатическимъ воодушевленіемъ, какъ они. Для партіи западнически-передовой убёжденіе въ необходимости свободы слова было понятіемъ настолько азбучнымъ, что не являлось даже и воодушевленія для доказательства такого трюизма. Славянофилы же, особенно побуждаемые еще и тыть, что въ глазахъ многихъ они сливались въ одно представление съ Булгаринымъ и Гречемъ, всеми силами старались очиститься отъ такого позорнаго смещенія и это придавало имъ энтузіазмъ въ пропов'яди самыхъ элементарныхъ принциповъ гражданской жизни. Самымъ пламеннымъ въ русской поэзіи прославленіемъ свободы печати, хотя и не въ блещущей художественными достоинствами формъ, является стихогвореніе Константина Аксакова "Свободное Слово":

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ, Ты мысли свътильникъ и пламя, Ты дучь намь на землю съ небесъ, Ты наиъ человъчества знамя. Ты гонишь невѣжества ложь, Ты въчною жизнію ново, Ты къ свъту, ты къ правдъ велешь,-Своболное слово.

Лишь духу власть духа дана,-Въ животной же силь ньтъ прока: Для истины-гибель она, Спасенье-для лжи и порока; Враждуетъ ли съ ложью-равно Живитъ его жизнію новой... Неправдѣ-опасно одно Свободное слово.

Отрады властямъ никогда Не зижди на рабствъ народа! Гдъ рабство-тамъ бунть и бъда, Защита отъ бунта-свобода. Рабъ въ бунтъ бласнъй звърей, На ножъ онъ меняетъ оковы... Оружье свободныхъ людей-

Своболное слово.

О слово, даръ Бога святой!

Кто слово, даръ Божсскій, свяжетъ,
Тогъ путь человъку иной,—
Путь рабства преступный укажетъ.
На козни, на вредную ръчь
Въ тебъ жъ и цъленье готово,
О, духа единственный мечъ,
Свободное слово!

Младшій брать Константина Аксакова — Ивань впоследствіи явился не только пламеннымъ теоретическимъ провозвъстникомъ принципа свободы печати, но и борцомъ за практическое примѣненіе его къ действительности. Восторженно предавный существующему порядку въ его основныхx чертахъ, но преданный "безъ лести", одъ, во имя свободы метнія и слова, не стеснялся съ полною правдивостью высказываться, когда действія администраціи его не удовлетворяли, и это привело къ тому, что онъ изведалъ всю тяжесть обычных и экстраординарных цензурных мфръ. Вообще изъ-за вепоколебимаго желанія говорить всегда то, что они думали, славянофилы длинный рядъ летъ не могли иметь своего собжурнала, что не могло имъ. однако, помѣшать выразить всю полноту своихъ чувствъ въ ингимныхъ собраніяхъ своего кружка, въ дружеской перепискъ и въ червовыхъ тетрадяхъ. Приведенное сейчасъ стихотвореніе Константина Аксакова нашлось только въ оставшихся после его смерти бумагахъ и напечатано только въ 1880 г., четверть въка послъ того, какъ было написано.

Не для печати также назначаль другой главарь славянофильства Хомяковь свое стихотвореніе "Россіи", чрезвычайно важное для характеристики славянофильскаго ученія, въ одно и то же время и полнаго величайшей преданности основнымь элементамь русской государственной жизни, и открывающаго широкое поле дѣйствій критикѣ ея недостатковъ. Стихотвореніе написано въ 1854 г., когда только что начиналась Севастопольская кампанія, когда еще всѣ были убѣждены, что мы Европу шапками закидаемъ. И вотъ въ этотъ моментъ полнаго разгула шовинизма и, самъ призывая "страву родную" "встать за братьевъ"—славянъ и идти

Чрезъ волны гнванаго Дуная— Туда, гдв, землю огибая, Шумятъ струп Эгейскихъ водъ,

поэтъ ни на одну минуту не забываетъ горькой правды и, рисуя картину внутреннихъ непорядковъ нашихъ съ ръзкостью библейскаго пророка, говоритъ Россіи:

Но помни: быть орудьемъ Бога Земнымъ созданьямъ тяжело. Своихъ рабовь онъ судитъ строго,— А на тебя, увы, какъ много Грѣховъ ужасныхъ налегло! Въ судахъ черна неправдой черной И игомъ рабства клеймена; Безбожной лести, лжи притворной, И лѣни мертвой и позорной И всякой мерзости полна!

Послъ сказаннаго о глубокой преданности славянофиловъ идеъ полной свободы мысли и слова, само собою ясно, какъ они должны были понимать второй членъ символа своей въры: православіе. Славянофилы были восторженные апологеты христіанства въ томъ видъ, въ какомъ оно кристаллизовалось въ восточномъ православіи первыхъ въковъ. Но и въ эту восторженную любовь, свободно создавшуюся въ ихъ умахъ и сердцахъ не потому, что православіе было господствующею формою религін, а потому, что они видёли въ немъ воплощение лучшихъ идеаловъ человъчества, славянофилы вносили такую же свободу духа, какъ и въ политическую часть своей граммы. Ихъ девизомъ было православіе съ полнымъ господствомъ соборнаго начала, съ широкимъ участіемъ паствы въ жизни церкви, съ без условною терпиностью по отношенію къ инославнымъ, съ полнымъ устраненіемъ принужденія со стороны св'єтской власти и, наконецъ, съ полною свободою изследованія. Изъ-за последняго славянофилы свои богословские трактаты вынуждены были печатать за границею.

Третій членъ общаго у славянофиловъ съ партіей "офиціальной народности" символа в ры—принципъ народности въ исторіи славянофильскаго ученія занимаєть особое м сто, потому что изъ вс хътрехъ основъ славянофильскаго міровоззрвнія только одинъ этотъ

пунктъ, по условіямъ времени, и могъ быть предметомъ сколько-нибудь детальнаго разсмотрфнія. Такое исключительное вниманіе внесло столько полемическаго задора и партійныхъ преувеличеній, что достигнуть вполит точной формулировки воззртній славянофиловъ на принципъ народности чрезвычайно трудно. Западники неизивнию упрекали славинофиловъ въ томъ, что они принципъ народности, самъ по себъ вполиъ естественный и законный, превратила принципъ напіональной исключительности. Славянофилы горячо противъ этого протестовали и говорили о клеветъ, а Иванъ Аксаковъ даже о невъжествъ и полномъ незнакомствъ противниковъ съ сущностью ученія. И д'яйствительно, въ славянофильской литератур'я можно какъ будто найти не одно опровержение того, что партія была проникнута національною исключительностью. Не Хомяковъ ли говорилъ о Западъ, какъ о "странъ чудесъ", не славянофилы ли придавали такое огромное значение христіанству, началу, во всякомъ случат, иноземному, и не они-ли, наконецъ, всегда взывали "обще-человъческимъ" началамъ, какъ такимъ, которыя должны лечь въ основу русской гражданственности? Но въ томъ-то и дело, что въ понимание этихъ общечеловъческихъ началъ и вносили славянофилы крайнюю исключительность, утверждая, что "міръ не видаль еще того общечеловъческого, какое явить русская великая славянская, и именно русская природа". Не отридая, конечно, иноземнаго происхожденія христіанства, славянофилы, устами наиболье горячаго изъ своихъ провозвъстниковъ-Константина Аксакова прямо утверждали, что "исторія русскаго народа есть  $e\partial u \kappa c m s e \kappa h a \kappa$ во всемъ мірѣ исторія народа христіанскаго не только по исповѣданію, но и по жизни своей, по крайней мірів, по стремленію своей жизни".

Дальше, конечно, трудно идти въ исключительности, хотя она и вытекала изъ уваженія къ общечеловъческому.

Какъ бы то ни было, однако, даже въ этихъ своихъ проявленіяхъ славянофильская исключительность не имѣла ничего общаго съ грубымъ и эгоистичнымъ "патріогизмомъ" не только Булгарина и Греча, но и Погодина и Шевырева, видѣвшяхъ величіе Россіи только во внѣшнемъ блескѣ и могуществѣ. Славянофиламъ русскія начала были дороги не только потому, что они свои, родныя, а потому, что они вполнё искренно казались имъ лучшими въ мірѣ, и въ торжествѣ русскихъ "особенностей" они видѣли торжество общечеловѣческихъ идеаловъ. Нежеланіе мѣшаться въ дѣла міра сего, чтобы не отвлекаться отъ духовнаго совершенствованія, и въ связи съ этимъ общинное и артельное начало въ сферѣ экономическихъ отношеній— вотъ тѣ "особенности", на основѣ которыхъ славянофилы мечтали создать русскую "самобытность". Такая "самобытность", по убѣжденію славянофиловъ, вполнѣ отвѣчаетъ идеаламъ русскаго  $\mu a$ - $po\partial a$  въ буквальномъ смыслѣ слова, т. е. народа не въ смыслѣ націи, а понимая подъ народомъ простого, сѣраго мужика.

Я не сомнъваюсь въ томъ, что у всякаго, кто ознакомится съ сейчасъ данному очерку его, неизбъжно славянофильствомъ по зародится вопросъ: почему же это міровоззрѣніе, въ большинствѣ существеннъйшихъ частей своихъ столь приближавшееся къ лучшимъ и важнъйшимъ пунктамъ міросозерцанія западниковъ, міровоззръніе, истинно демократическое и проникнутое дъйствительнымъ, непритворнымъ желаніемъ поставить во главѣ всѣхъ государственныхъ интересовъ интересы народа, почему оно вызывало со стороны западниковъ столько ожесточенія? Можно было спорать, можно было упрекать наивности, въ идеализаціи иногихъ факторовъ русской исторической жизви, самихъ по себъ весьма грубыхъ, но почему надо было вести этотъ споръ съ такимъ ожесточениемъ? Вспомнимъ глубоковърное замъчание Герцена: «У нихъ (славянофиловъ) и у насъ (западниковъ) запало съ раннихъ лътъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, безграничной, охватывающей все существование любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. Мы, какъ Янусъ, смотрели въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно». Вспомнимъ, затъмъ, эпоху великихъ реформъ, когда славянофилы такъ прекрасно себя вели, энергически защищая общинное землевладеніе, отстанвая крестьянскую реформу въ ваиболте ея широкихъ предположеніяхъ и столь же горячо поддерживая всё остальныя начинанія новой эпохи: гласный судъ, самоуправленіе, свободу печати и т. д.

Отвътъ надо искать исключительно въ тяжелыхъ условіяхъ вре-

мени, благодаря которому лучшія стороны славянофильскаго ученія не могли получить въ 40-хъ годахъ яркаго и яснаго литературнаго выраженія. Тотъ очеркъ славянофильства, который сдёланъ выше, данъ здёсь въ исторической перспектиет, т. е. при возможности пользоваться фактами и документами разныхъ датъ и разныхъ годовъ опубликованія. Такъ, государственная часть программы славянофильства очерчена выше словами той зачиски, которую Константинъ Аксаковъ подалъ Императору Александру II въ 1856 г. Въ этой записки не было ничего новаго по существу, она была только повтореніемъ того, что дебатировалось еще въ самомъ началь 40-хъ годовъ на постоянныхъ сходбищахъ московской интеллигенціи, на тых знаменитых «всенощных байніях», когда еще «славяне» и «западные» не разошлись окончательно и въ личемъъ бесъдахъ старадись другь друга убъдить въ правотъ своего міровозарънія. Но въ стройной и опредъленной формъ и съ такимъ подчеркиваніемъ важности проявленія общественной мысли государственная программа славянофильства была изложена только въ запискъ Аксакова. Будь она извъстна Бълинскому, будь извъстны ему стихи Хомякова, кладущіе такую різжую грань между патріотизмомъ славянофиловъ и шовинизмомъ улицы, будь ему извъстны восторженные дифирамбы славянофиловъ свободъ слова и знай онъ, накопецъ, о доблестномъ поведенін ихъ при похоронахъ дореформенныхъ порядковъ, и онъ, конечно, совствиъ иначе повелъ бы себя. Онъ не набрасывался бы на нихъ со всёмъ озлобленіемъ человёка, которому зажать роть и который и возражать-то толкомъ не имбетъ никакой возможности. Лучшія стороны славянофильства развернулись позже Бълинскаго, а при немъ славянофиловъ позорило ихъ нежелание открыто отдълиться отъ уличнаго «патріотизма», ихъ потворство такимъ дикимъ выходканъ à la Булгаринъ, какую, напримъръ, позволилъ близкій славянофиламъ поэтъ Языковъ (на сестръ его былъ женатъ Хомяковъ). Въ 1845 г. Языковъ, причисливъ себя и славянофиловъ къ «нашимъ», написалъ извъстное стихотворение «Къ ненашимъ», гдъ (конечно, безъ упоминанія именъ) называетъ Грановскаго, Герцена, Чаздаева изминиками, ихъ міровоззриніе «ученьемъ школы богомерзкой» и надъется, что скоро «замретъ проклятый вашъ языкъ».

Въ интимныхъ разговорахъ, въ записныхъ тетрадяхъ славянофилы протестовали противъ стиховъ Языкова, и, напримъръ, Константинъ Аксаковъ въ неизданномъ стихотворени «Къ союзникамъ» съ негодованіемъ отвергалъ помощь такого печальнаго свойства:

Не съединить насъ буква мнѣнья, Во всемъ мы разны межъ собой И ваше злобное шппѣнье Не голосъ спльный п простой... На битвы сыходя святыя, Да будемъ чисты межъ собой!— Вы—прочь, союзники гнилые, А вы, противники, на бой!

Но въ печати эти протесты не появлялись; открыто славянофилы ничемъ своего негодованія не выражали, а самый факть, что Языковъ считалъ себя купно со славянофилами «нашими», что и самъ Аксаковъ долженъ былъ признать его «союзникомъ», показывалъ, что въ общемъ, для обыкновеннаго наблюдателя, а следовательно и читателя, разграничительной черты между славянофилами и раргіей офиціальной народности въ 40-хъ гг. провести нельзя было. И вотъ почему западники, втрные правилу «Timeo Danaos jam dona ferentes», не хотъли ничего брать у славянофильства. Пламенный демократь Бълинскій пренебрежительно относился къ народному творчеству только потому, что славянофилы его превозносили. общиннымъ землевладъніемъ стали спеціальнымъ удъломъ славянофиловъ, хотя, казалось бы, кому какъ не западникамъ 40-хъ гг., съ ихъ безграничнымъ увлечениемъ соціальными утопіями, слёдовало бы ухватиться за общинно-артельныя начала русской народной жизни. Больше же всего западники были напуганы требованіями «самобытности» и выискиваніемъ русскихъ народныхъ «особенностей», флагъ, подъ которымъ такъ легко было провести всю гниль мракобъсія. Должно было пройти 30 льть, пока исчезь страхь, который нагнала партія «оффиціальной народности», говоря отъ имени «народа». Только въ 70-хъ годахъ синтезъ лучшихъ началъ западничества и славянофильства выразился въ нарождении того безграничнаго вародолюбія, которое въ своемъ мистическомъ, почти религіозномъ преклоненіи предъ народомъ не убоялось преклонигься и передъ «особенностями» народа, передъ его «устоями». Народничество 70-хъ и начала 80-хъ гг. вскоръ дошло до крайнихъ предъловъ въ идеализаціи народныхъ «устоевъ» (которыми признало только общино-артельное начало и брожение религиозной мысли) ихъ выше идеаловъ интеллигенціи. Такія крайности и поставило не могли долго владъть умами, но свою долю пользы онъ принесли Драгодыныйшимы результатомы вызванного ими возбужденія и изученія народныхъ «устоевъ» была увъречность, что эти устои не находятся ни въ какомъ противоръчіи съ лучшими лозунгами демократизма и европейской культуры. Боязнь «особенностей», страхъ предъ «самобытностью» исчезъ безследно, и видимъ, что писатели, выступившіе съ протестами противъ крайностей народничества, вмёстё съ тёмъ признали цёлый рядъ «особенностей» русскаго народа, честь перваго выясненія которыхъ безспорно составляетъ заслугу славянофильства.

Третья изъ литературно-общественныхъ партій, окончательно выдёлившихся въ 40-хъ годахъ, получила название «западничества». Партія приняла эту полемическую кличку безъ оговорокъ и такой, напр., выдающійся представитель ея, какъ Тургеневъ, называлъ себя «неисправимымъ западникомъ». Но именно этотъ-то примфръ, этотъ-то приверженецъ «западничества», въ десять разъ больше всёхъ славянофиловъ, вмёстё взятыхъ, сдёлавшій для созданія симпатій къ русскому быту и природ'в русской, показываетъ, что кличка далеко не выражаетъ всёхъ характерныхъ чертъ западническаго міровозэрінія. Нікоторое время шедшія къ намъ изъ Франціи въ 40-хъ годахъ идеи назывались «филантропическими». Вотъ эта кличка дъйствительно выразила-бы всю полноту направленія западничества, въ которомъ преклоненія предъ Западомъ, какъ таковымъ, никогда не было. Не Западъ самъ по себъ, а Западъ исключительно какъ примъръ практическаго осуществленія лучшихъ началъ вильнаго общественнаго устройства-вотъ что привлекало нашихъ западниковъ. Поскольку же Западъ не осуществляль идеала общественнаго благоустройства, онъ встрѣчалъ въ рядахъ западниковъ нашихъ величайшее осужденіе. На-ряду со всѣми «утопистами» Европы, западники наши подвергали европейскій буржуазный строй рѣзкому осужденію.

Быль въ 40-хъ годахъ и даже вель дружбу съ западническою литературною молодежью одинъ человъкъ, котораго дъйствительно можно было назвать западникомъ. Чаадаевъ. Тому дъйствительно ничто не нравилось въ Россіи и все нравилось въ Европъ, даже папство... Но Чаадаевъ и по возрасту, и по общему складу своего міровоззрѣчія, отнюдь не «филантропическаго», былъ очень далекъ отъ западнической молодежи. Они сходились между собою только въ критикт неприглядной русской дъйствительности того времени. Идеалы же у нихъ были совершенно разные. И только полемическія цъли могли побудить славянофиловъ связать въ одно Чаадаевское міровоззрѣніе, смотрѣвшее назадъ, въ глубь среднихъ вѣковъ, съ міровоззрѣніемъ кружка Герцена и Бѣлинскаго, жадно смотрѣвшаго впередъ въ поискахъ новыхъ путей правильнаго развитія жизни человъчества.

Если говорить о запалничествывы смыслы вліянія западныхы идей, то падо говорить частиве-о вліянім именно французских видей. Духовная жизнь передовыхъ кружковъ 40-хъ годовъ развивалась подъ решающимъ воздействиемъ французского общественного движения, предшествовавшаго 1848 году. Тридцатые годы были годами немецкаго вліянія по превмуществу и по источникамъ своимъ — изученію Шиллера, Гете, Шеллинга, Гегеля. и по общему направленію своемунеопредъленно-идеалистическому, расплывавшемуся въ абстракціяхъ и скользившему по русской дъйствительности, не ухватиться для практического проведенія въ жизнь своихъ идеаловъ. Въ 40-хъ годахъ все это смѣняется вліяніемъ французскихъ соціальныхъ системъ, и для характеристики міросозерцанія кружка Вълинскаго и Герцена ихъ можно было бы назвать «соціалистами». При этомъ слёдуеть, однако, отмётить, что «соціализмъ» въ поздневшемъ сиыслё-аггрессивномъ быль чуждъ большинству людей 40-хъ годовъ. Бълинскій въ одномъ письмѣ называеть себя «соціалистомъ», но только въ смыслѣ человѣка, интересующагося по преинуществу «соціальными», т. е. общественными отношеніями. Правильнѣе, поэтому, называть нашихъ западниковъ 40-хъ годовъ не «соціалистами», а общественний ками, и тогда подъ эту кличку подойдутъ и очень радикально-настроенный Герценъ, и бурный протестантъ Бѣлинскій, и безусловно мирные и молодые писатели, выступившіе въ концѣ 40-хъ годовъ съ художественною проповѣдью новыхъ идеаловъ—Тургеневъ, Григоровичъ, Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ и др. Послѣдній изъ сейчасъ названныхъ писателей кратко, но чрезвычайно ярко формулировалъ общее настроеніе эпохи. Какъ и во всѣхъ молодыхъ людяхъ конца 40-хъ годовъ, въ Салтыковѣ бродилъ неопредѣленый и туманный «соціализмъ», нашедшій свое выраженіе въ повѣсти «Запутанное дѣло», благодаря которой онъ въ началѣ 1848 года попалъ въ Вятку. И вотъ, вспоминая въ «За рубежемъ» пору молодости, тѣ настроенія, подъ вліяніемъ которыхъ написалось «Запутанное дѣло», Салтыковъ говоритъ:

«Изъ Франціи, разумѣется не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ—лилась въ насъ впра вт человтиество; оттуда возсіяла намъ увъренность, что золотой въкъ не позади, а впереди насъ».

Въ этомъ важномъ историческомъ свидътельствъ драгоцънны не только факты, но и общій тонъ. Рѣчь какъ будто идетъ о политико-экономическихъ теоріяхъ, но на самомъ дѣлѣ воспоминанія расшевелим въ суровомъ сатирикъ только память сердца. Тутъ не «борьба классовъ», а иеловъчество, не политическая экономія, а въра, и эта вѣра воспринята не сухо-логически, потому что факты и цифры неотразимы,—она возсіяла. И какъ характерно затѣмъ въ политическую экономію Луи-Блана огромнымъ клиномъ врѣзалась романистка Жоржъ-Зандъ. Но разъ люди серьезно мечтаютъ о наступленіи «золотого вѣка», то почему бы романистамъ и не играть первенствующей роли въ исторіи происхожденія этихъ мечтаній?

Необыкновенно яркое пробуждение общественного чувства въ концъ сороковыхъ годовъ сказалось на всъхъ отрасляхъ литературной производительности эпохи. Тъ же самые «люди сороковыхъ годовъ», которые прежде, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ

«абсолютах», о «святыв искусства», о «в ной красот » и тому подобном в, теперь до мозга костей проникаются «политикой», думами и размышленіями о том в, справедлив в или несправедлив существующій общественный строй, правильны или неправильны наши космогоническія представленія, нормальны или не нормальны наши семейныя отношенія и т. д. Сообразно съ этим в поворотом в, р шительно вся молодая литература изъ фазиса эстетическаго переходить въ фазись общественно-политическій.

Все, что появилось въ срединъ и концъ сороковыхъ годовъ свъжаго, убъжденнаго и талантливаго, все это примкнуло къ новому движенію. Приминуль, во-первыхь, Бълинскій со всемь запасомь своего страстнаго энтузіазма. Съ тою же восторженною энергіей, съ которою «Неистовый Виссаріонъ» когда-то требоваль отъ писателей служенія чистому искусству, онъ сталь требовать отъ нихъ опредізленной общественной тенденців. Это же требованіе соотношенія жизни и искусства выставиль на своемь знамени даровитый юноща, такъ рано погибшій для русской литературы—Валеріанъ Майковъ. Ярко и опредъленно примыкалъ къ духу времени третій даровитый теоретикъ сороковыхъ годовъ--Искандеръ. Нужно припоменть силу вліянія Бѣлинскаго, неотразимое обаяніе ума Искандера и горячую убъжденность Майкова, чтобы понять, до какой степени должны были подчиниться проповёди новыхъ теорій молодые таланты, чуткіе ко всему искреннему и убъжденному. И дъйствительно, какимъ-то совершенно стихійнымъ образомъ, всв молодые таланты, точно сговорившись и почти въ одинъ и тотъ же годъ, предстали предъ изумленною публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали широкія общественныя тенденців. Явился Григоровичь съ «Деревней» и «Антономъ Горемыкой», въ которыхъ впервые быль показанъ человъкъ въ кръпостномъ мужикъ. Явился Тургеневъ съ «Записками охотника», въ которыхъ то же желавіе очелов'ячить мужика было проведено съ еще большею теплотою. Явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ «мечты и звуки» и посвятившаго отнынѣ свою музу народнымъ страданіямъ и психологіи народной души. Та-же широкая общественная тенденція лежала въ основъ двухъ талантливыхъ произведеній, задавшихся выясневіемъ семейныхъ отпошеній-искандеровскаго «Кто виноватъ» и «Полиньки Саксъ» Дружинина. «Обыкновенная исторія» Гончарова, благодаря сухости авторскаго темперамента, является какъ бы проповъдью каррьеристской «дъловитости», но по намфреніямъ авторскимъ она должна была отразить собою «первое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, живого дъла въ борьбъ съ всероссійскимъ застоемъ». Не особенно «передового» образа мыслей быль Писемскій, заствшій послѣ окончанія въ 1844 году университетскаго курса въ провинціи и занявшійся тамъ исключительно личною жизнью. Мало его и въ увиверситет занимали «илеи в ка», а тымь болье въ провинпіальной глуши. Но до такой степени эти «идеи въка» просто въ воздухъ были разлиты, до такой степени ими была проникнута каждая журнальная статья и статейка, что даже Писемскій, совершенно въ сторонъ стоявшій отъ передового движенія, въ первомъ своемъ произведенія—превосходной «Боярщинів», настолько різко поставиль вопросъ о свободъ любви, что цензура 1847 года, пропустившая «Кто виноватъ» и «Полиньку Саксъ», не пропустила «Боярщины», которая такъ-таки только въ следующее царствование и увидела свътъ. Нужно ли много говорить о томъ, васколько ръшительно примыкали къ вовому течевію «Бъдные люди» Достоевскаго и «Запутанное дело» Салтыкова? Нетъ надобности удлинять нашъ перечень разными второстепенными произведеніями, повъстями Дурова, Буткова, прозою Некрасова и т. д. О литературѣ того или другого періода судять по выдающимся произведеніямь, а мы ихъ всв назвали и всв они убъждають нась въ томъ, что одна волна захватила лучшую и талантливъйшую часть литературы, что въ одномъ и томъ же направленіи работали всв молодые умы. Яркое выраженіе этого направленія мы находимъ въ стихотвореніи Плещеева «Впередъ», которое для насъ въ данномъ случай имбетъ значение историческаго документа. Только что выступившій на литературное поприще 22-літній поэть сь буквальной точностью отразиль своемъ стихотворевін настроеніе молодой, нарождающейся литературы:

Впередъ! безъ страха и сомнънья, На подвигъ доблестный, друзья! Зарю святого искупленья Ужъ въ небесахъ завильлъ я! Смёлёй! дадимъ другь другу руки И сміло двинемся впередъ, И пусть подъ знаменемъ науки Союзъ пашъ кръпнетъ и растетъ! Жрецовъ гръха и лжи мы будемъ Глаголомъ истины карать, И спящихъ мы отъ сна разбудимъ, И поведемъ на бигву рать. Не сотворийъ себъ кумира Ни на земль, ин въ небесахъ; За всъ дары и блага міра Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ. Провозглащать любви ученье Мы будемъ нишимъ, богачамъ. И за пего спесемъ гонецье, Простивъ озлобленнымъ врагамъ. Блаженъ, кто жизиь вь борьбъ кровавой, Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ: Какъ рабъ ленивый и лукавый, Талантъ свой въ землю не зарылъ! Пусть памъ звіздою путеводной Святая пстина горитъ И, върьте голосъ благородный Не даромъ въ міръ прозвучитъ. Внемлиге-жъ, братья, слову брата, Пока мы полны юныхъ сплъ. Впередъ! Впередъ! п безъ возврата, Что бъ ровъ вдали намъ не сулиль!

Для современнаго читателя стихотвореніе это можетъ показаться собраніемъ общихъ мѣстъ. Но подставьте подъ туманныя выраженія стихотворенія выраженія болье точныя, подставьте увлеченіе тѣмъ "ученіемъ любви", которое къ намъ шло изъ Франціи, подставьте, ненависть къ безобразіямъ тогдашняго строя общественной жизни которою была проникнута вся молодая литература, а главное подставьте юношескій энтузіазмъ и молодую вѣру въ неизбѣжное наступленіе новыхъ, лучшихъ временъ, и вы убѣдитесь, до какой степени

горячій и искренній призывъ молодого поэта отразиль въ себѣ міросозерцаніе всей молодой литературы, которая поэтому и заучивала съ восторгомъ стихотвореніе Плещеева.

Таковы общіє контуры эпохи, выразителемъ которой явился Бѣлинскій. Отражать такую эпоху, полную прежде всего великодушныхъ порывовъ, нужно было по преимуществу сердцемъ, и я рѣшаюсь утверждать, что именно въ томъ, по преимуществу, великое значеніе Бълинскаго, что у вего было великое сердие. Огромно, конечно, и чисто-умственное значение его литературнаго наслъдства. Разберитесь въ своихъ представленіяхъ о главныхъ моментахъ русской литературы и вамъ станетъ ясно, что источникъ ихъ въ разъясненіяхъ, съ такою удивительною яркостью и ясностью данныхъ Бълинскимъ. Присмотритесь къ тому пониманію исторіи русской литературы, которое теперь уже разошлось по всёмъ учебникамъ, и вамъ опять станетъ ясно, что все это взято изъ статей Бѣлвнскаго о Пушкинѣ, изъ его «Литературныхъ мечтаній», изъ годовыхъ обзоровъ его. Прослідите, наконецъ, генетическую связь между литературнымъ движеніемъ всего ряда літъ, протекшихъ послѣ смерти Бѣлинскаго, и мыслями, идеями и настроеніями «Неистоваго Виссаріона» и вы увидите, что для Бълинскаго еще не наступила исторія. У Бълинскаго вы всегда найдете отвътъ на большинство самыхъ животрепещущихъ вопросовъ современности, потому что отправные пункты путей, по которымъ шла разработка этихъ вопросовъ, намъчены Бълинскимъ же совершенно опредъленно и ясно.

Словомъ, Бълинскій есть основа, первоисточникъ, краеугольный камень всей новой русской литературной мысли, живое воплощеніе всёхъ тёхъ новыхъ началъ, которыя сдёлали русскую литературу важнёйшимъ факторомъ новаго направленія русской гражданственности.

Но именно только воплощеніе. Никакое преклоненіе предъ Бѣлинскимъ не должно затушевывать тотъ фактъ, что мысли, которыя онъ высказывалъ съ такимъ огромнымъ талантомъ и силою, были мыслями цѣлаго круга людей, его вдохновлявшихъ. И этотъ фактъ не только потому не нужно затушевывать, что онъ есть правда, а еще и потому, что въ немъ рѣшительно нѣтъ ничего такого, что бы

умаляло значеніе Бълинскаго. Въдь самые то настоящіе великіе люди тѣ, которые не саим по себѣ, а отражаютъ великія эпохи. Второстепенно было бы значение Бълинскаго, если бы онъ отражалъ одного Бакунина, одного Грановскаго, одного Герцена. Ho одновременно, и притомъ по отношенію къ большинству изъ нихъ съ безковечно большею силою и блескомъ, отражалъ и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановскаго, и Герцена, то это уже значить, что онь является центральнымь пунктомь знаменитьйшей эпохи, выразителемъ замівчательнівищаго момента русской культуры, давшей ту плеяду великихъ писателей, которая поставила Россію на одинъ уровень съ великими литературными державами человъчества. Какъ я сказалъ въ другомъ мъстъ, главная заслуга великаго критика «не въ томъ, что онъ лично додумался до всёхъ идей, имъ высказанныхъ, а въ томъ, что онъ провелъ ихъ сквозь горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщилъ имъ отпечатокъ своей идеально-прекрасной личности. Непреходящее вліяніе статей Бълинскаго зиждется на томъ, что въ нихъ слышно біеніе сердца, безспорно самаго благороднаго, когда-либо бившагося въ русской груди, что въ никъ сказалась никъмъ другимъ не достигнутая высота настроенія, сила и глубина чувства. Великій праведникъ литературы русской, рыцарь безъ страха и упрека, на свётлой памяти котораго нътъ ни единаго, самомальйшаго пятнышка, быль виъстъ съ тъмъ великимъ страстотерицемъ новой русской иысли. Онъ глубоко выстрадаль свои убъжденія и въ полномъ смыслѣ слова писалъ лучшею кровью своего сердца».

Печать необыкновенно высокаго духа Вѣлинскаго лежить на каждой строчкѣ, имъ написанной, и оттого такъ жгучи понынѣ эти старыя журнальныя статьи и рецензіи, болѣе полувѣка тому назадъ написанныя и часто по поводамъ совершенно ничтожнымъ. Мысли старѣются и становятся банальными, что можно сказать про многія положенія Бѣлинскаго, превратившіяся въ трюнзмы. Но истинный павосъ никогда не старѣетъ и всегда сообщается читателю. И какъ вѣрующій, заглядывающій въ минуту поисковъ душевнаго утѣшенія въ псалтирь, находить въ ней слова успокоснія, хотя они сказавы совсѣмъ по иному поводу, такъ и сочиненія Бѣлинскаго, раскрытыя въ

любомъ мѣстѣ, даютъ источникъ великаго наслаждевія всякому, волнующемуся вопросами морали, назначенія литературы и выясненія истинныхъ задачъ человѣческаго существованія. Безграничное воодушевленіе Бѣлинскаго уноситъ и читателя его въ горныя вершины духа. Есть немногіе избранники, при встрѣчѣ съ которыми всякій нравственно подгягивается и куда-то далеко, далеко прячетъ всѣ мелкіе помыслы. Заразительно, вѣдь, не только зло, но и добро. Бѣлинскій—одинъ изъ такихъ избранниковъ. Въ этомъ было его значеніе въ кружкахъ превосходившихъ его знаніями пріятелей его, въ этомъ его значеніе и теперь. Въ его дуковномъ присутствіи отпадаетъ все ничтожное и пошлое, и всякій чувствуетъ неодолимую потребность чѣмъ-нибудь приблизиться къ его душевной чистотѣ и настроить себя въ унисонъ съ біеніемъ его великаго сердца...



Полное собраніе сочиненій Байрона въ переводъ русскихъ писателей. Подъ редакціей С. А. Венгерова. Роскошное изданіе, съ историко-литературными предисловіями, примъчаніями, эстампами и рисунками въ текстъ. (Библіотека великихъ писателей, изд. Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1904-1906. З тома. Ц. за 3 тома 15 руб., въ 3 переплетахъ 18 р.

Главные дъятели освобожденія крестьянъ. (Премія къ «Въстнику и Библіотекъ Самообразованія» на 1903 г.). Подъ редакціей C, A. Вемероза. Спб. 1903. Изд. Бр. кгаузъ-Ефрона. Ц. 2 руб.

Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. Историко-литературный сборникъ. Вышло 6 томовъ. (Спб. 1886—1904). Ц. Іт. 5 р. 25 к., II 2 р. 25 к. Остальные по 2 р. 50 к.

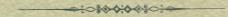
Полное собраніе сочиненій В. Г. Б'блинскаго въ 12 томахъ Подъ редакціей и съ примъчаніями  $C.\ A.\ Венгерова.$  Вышло 7 томовъ. Ц. каждаго тома 1 р. 25 коп.

Эпоха Бълинскаго. (Общій очеркъ). Публичная лекція. Спб. 1905. Ц. 20 коп.

В. Г. Бълинскій. Письмо къ Гоголю. Съ предисловіемъ C. A. Венгерова. Спб. 1905 Ц. 10 к,

## ПЕЧАТАЮТСЯ:

Очерки по исторіи русской литературы т. І. (около 500 стр.).



## Книгоиздательство "Свъточъ".

№ 1. Мильтонъ. Рѣчь о Свободъ печати (Areopagitica). (Серія "Избранныя произведенія политичёской литературы" № 1) Ц. 20 к.

№ 2. В. Г. Бѣлинскій; Письмо къ Гоголю. Съ предисловіемъ С. А. Венгерова, (Серія "Избранныя произведенія политической литературы" № 2). Ц. 10 к.

№ 3. С. А. Венгеровъ. Эпоха Бълинскаго. (Общій Очеркъ). Ц. 20 к.

## Печатаются:

- № 4. К. К Арсеньевъ. Салтыковъ—Щедринъ. В (Серія "Вэжци русскаго Сознанія" № 1). Съ 4 фототипіями.
- № 5. "Свѣтъ Азіи". Поэма Эдвина Арнольда. (Изложеніс буддизма въ поэтической формѣ). Переводъ А. М. Өедорова. 2-ое исправл. и иллюстрированное изданіе. Съ предисловіемъ академика С. Ө. Ольденбурга.

№ 6. С. А. Венгеровъ. Очерки по истор русской лигературы. т. 1,

Въ дальнъйшихъ изданіяхъ "СВЪТОЧА" объщали принять участіє: акад. К. К. Арсеньевъ проф. А. А. Брандтъ, С. А. Венгеровъ, проф. Алексъй Веселовскій, В. В. Водовозовъ, Волжскій, проф. Н. И. Каръевъ, Н. И. Коробка, проф. Н. А Котляревскій, П. О. Морозовъ, акад. С. Ө. Ольденбургъ, А. С. Пругавинъ, А. М. Өедоровъ и др.

Складъ изданій "СВЪТОЧА": 1) Книжный Складъ "Общ. Польва" Спб., Большая Подъяческая, 39. 2) Книжный Складъ А. Э. Вике, Спб. Екатерингофскій, 15.

Цѣна 20 коп.